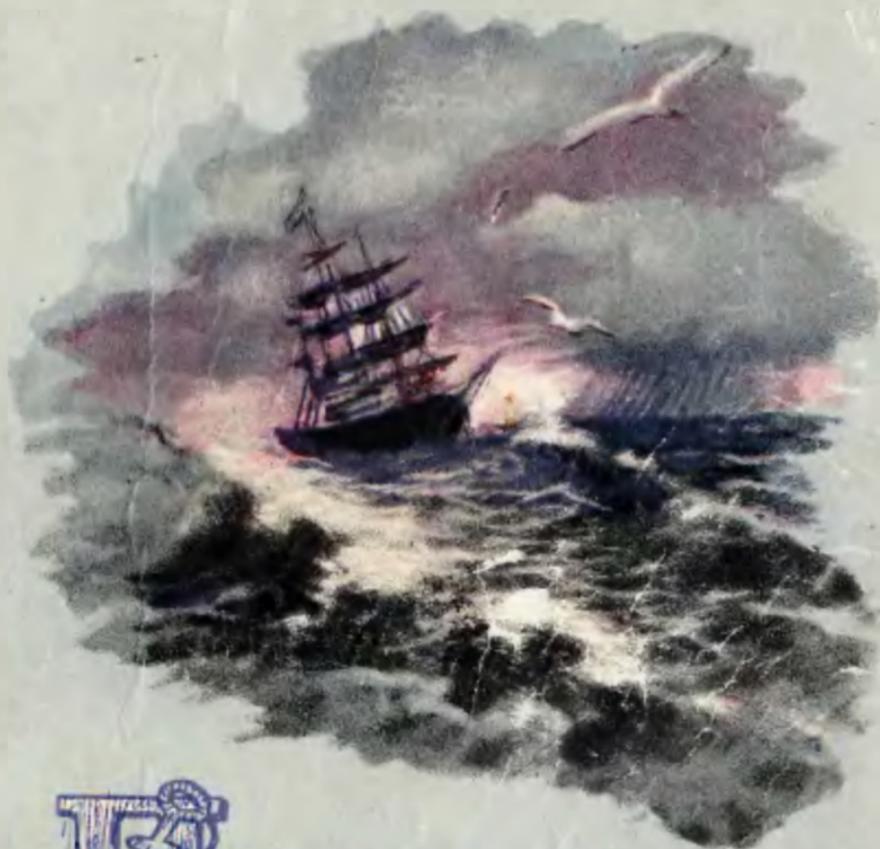


С. 11

К. М. Станюкович



В О В Е С Т И

Курск-1956

84. P1
С-11

К. М. Станюкович

Рассказы

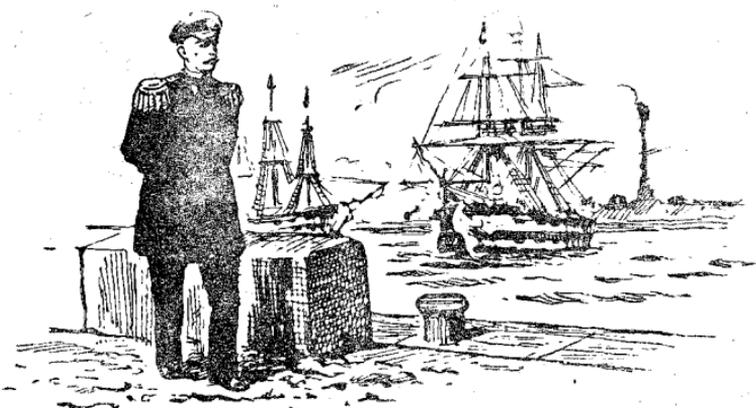
ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ
ПАССАЖИРКА
„БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ“



КУРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956

010847

093847



ГРОЗНЫЙ АДМИРАЛ

I

Лишь только кукушка на старинных часах в столовой, выскочив из дверки, прокуковала шесть раз, давая знать о наступлении сумрачного сентябрьского утра 1860 г., как из спальни его высокопревосходительства, адмирала Алексея Петровича Ветлугина, занимавшего с женой и двумя дочерьми обширный деревянный особняк на Васильевском острове, раздался громкий, продолжительный кашель, свидетельствовавший, что адмирал изволил проснуться и что в доме, следовательно, должен начаться тот боязливый трепет, какой еще в большей степени царил, бывало, и на кораблях, которыми в старину командовал суровой моряк.

Услыхав первые приступы обычного утреннего кашля, пожилой камердинер Никандр, только что при-

готовивший в столовой все для утреннего кофе адмирала и стороживший в столовой его пробуждение, стремглав бросился бегом вниз, на кухню, сиявшую умопомрачительной чистотой и блеском медных кастрюль, в порядке расставленных на полках, и крикнул повару Лариону:

— Встает!

— Есть! — по-матросски отвечал Ларион, внезапно засуетясь у плиты, на которой варились кофе и сливки, и уже облеченный в белый поварской костюм, с колпаком на голове.

— Хлеб, смотри, не подожги, как вчера! — озабоченно наставлял Никандр. — А то сам знаешь, что будет.

Круглолицый молодой повар Ларион, крепостной, как и Никандр, накануне воли, отлично знал, что будет. Еще не далее как вчера он обомлел от страха, когда его позвали наверх к адмиралу. Однако дело ограничилось лишь тем, что адмирал молча ткнул ему под нос ломтем подгоревшего хлеба.

— Не подожгу... Вчера точно ошибся маленьчко, Никандра Иваныч... Передержал.

— То-то, не передержи! Да чтобы сливки с пылу! Через десять минут падо подавать. Не опоздай, смотри!

С этими словами Никандр выбежал из кухни, забежал в свою каморку, чтобы взять платье и на диво вычищенные сапоги адмирала, и вернулся в комнаты. В столовой он снова озабоченно осмотрел стол — все ли в порядке, оглядел пол — нет ли где пыли, и затем, отворив осторожно двери, прошел через кабинет в маленькую, уже опустевшую спальню и, поставив сапоги и сложив бережно платье, стал дожидаться с простыней в руках, когда его кликнут для обычного обтирания, после холодной ванны, которую адмирал брал ежедневно.

Этот Никандр, которого прочие слуги в доме звали Никандрой Иванычем, служивший при адмирале безотлучно и в море и на берегу в течение двадцати лет, был сухощавый и крепкий человек лет под пятьдесят, с смышленным, несколько мрачным лицом. Глад-

ко выбритые щеки и подбородок и коротко остриженные волосы придавали Никандру военный вид. Человек он был несообщительный, исправный до педантизма и проворный, как и все слуги адмирала, не терпевшего медлительных движений. Вышколенный барином и до сих пор сохранивший знак этой «школы», в виде надорванного правого уха, в котором блестела сережка, хорошо изучивший характер и привычки Ветлугина, Никандр сумел так приспособиться к грозному адмиралу, что тот гневался на своего камердинера относительно редко и по-своему благоволил к нему. Да и не за что было и придирааться к Никандру — до того он был исправен и безукоризнен в исполнении своих обязанностей. Вся его жизнь была, так сказать, поглощена одним адмиралом, заботами, чтобы все было сделано во-время, чтобы в комнатах была чистота, напоминающая чистоту корабельной палубы, и преодолимым, вечно напоминающим о себе страхом адмиральского гнева. Казалось, лично о себе Никандр и не думал и собственных интересов не имел, а существовал на белом свете исключительно для адмирала. И только в последнее время, когда слухи о поле стали настоящим, на сдержанном, мрачном лице Никандра появлялось по временам какое-то загадочное выражение не то радости, не то недоумения.

Он неизменно просыпался в пять часов утра, всегда с тревожной мыслью: не проспал ли? Торопливо одевшись, Никандр в своем затертом гороховом сюртуке и в мягких войлочных башмаках начинал мести комнаты и что-нибудь убирал или чистил вплоть до полудня. С полудня он неизменно облакался в черную пару и снова находил себе работу до обеда, когда вместе с другим слугой подавал к столу. Затем он убирал серебро и посуду (все было у него на руках и под его ответственностью), подавал чай и успокаивался только в одиннадцать часов, когда адмирал обыкновенно ложился спать и все в доме облегченно вздыхали. Тогда Никандр уходил в свою каморку (на половине адмиральши служил другой лакей) и, прочитав «Отче наш», укладывался на своей койке и засыпал, как и просыпался, опять-таки с тре-

вожными мыслями, на этот раз о завтрашнем дне: о том, например, что надо завтра приготовить мундир, надеть ордена и звезды, сходить к портному, взять из починки старый адмиральский сюртук и доложить адмиралу, что запас сахара на исходе.

Прочие слуги в доме уважали и любили Никандра, и все звали его по имени и отчеству. Он был добрый и справедливый человек, нисколько не гордился своим званием камердинера и старшего слуги, и хотя был требователен и, случалось, ругал за лодырство, но никогда не ябедничал и не подводил своего брата. Напротив! Бывало, что он являлся заступником и принимал на себя чужие вины.

Из ванной доносилось фырканье моющегося адмирала. Затем слышно было, как он крикнул, погрузившись в холодную, прямо из-под крана, воду. Тогда Никандр, физиономия которого выражала сосредоточенное и напряженное внимание, пододвинулся поближе к двери в ванную. Минуты через три оттуда раздался отрывистый, повелительный окрик: «эй!» — и в ту же секунду Никандр уже был за дверями и, накинув простыню на мускулистое, покрасневшее мокрое тело вздрагивавшего высокого адмирала, стал сильно растирать ему спину, поясницу и грудь. Адмирал лишь от удовольствия побрякивал и временами говорил:

— Кренче!

И Никандр тер во всю мочь.

Когда адмирал произнес наконец: «стоп!» — Никандр быстро сдернул простыню, подал сорочку и вышел вон. Адмирал всегда одевался сам.

Через десять минут его высокопревосходительство, заглянув в кабинете, по морской привычке, на барометр и термометр, вышел в столовую в своем легком халате из цветной китайки и сафьяновых туфлях, направляясь быстрой и легкой походкой к столу. Как большая часть моряков, адмирал слегка горбил спину.

Одновременно с его появлением в столовой Никандр подал на стол кофейник, сливки, ветчину и тарелку с ломтями белого хлеба, поджаренными в сливочном масле. Поставив адмиралу стул, камердинер

отошел к дверям, и адмирал стал пить из большой чашки кофе, заедая его горячими «тостами» и холодной ветчиной. Пил и ел он с большим аппетитом и необыкновенно скоро, точно торопился, боясь куда-нибудь опоздать.

II

Несмотря на то, что адмиралу стукнуло уже семьдесят четыре года, никто не дал бы ему этих преклонных лет, — так еще он был полон жизни, крепок и моложав. Высокий, плотный, но не полный, широкоплечий и мускулистый, он никогда в жизни серьезно не болел и пользовался неизменно могучим здоровьем. Он еще и теперь, несмотря на свои годы, избегал без передышки на лестницы верхних этажей, искаживал, не чувствуя усталости, десятки верст и летом в деревне скакал на коне, травя лисиц и зайцев.

Его продолговатое, сухощавое лицо, отливавшее резким румянцем, с загубелой от долгих плаваний кожей, имело суровый, повелительный вид. В нем было что-то жесткое, непреклонное и властное. Сразу чувствовался в адмирале человек железной воли, привыкший повелевать на палубе своего корабля. Его небольшие серые глаза, с резким и холодным, как сталь, блеском, глядели из-под нависших, чуть-чуть заседевших бровей с выражением какого-то презрительного спокойствия старого человека, выдавшего на своем веку всякие виды и знающего себе цену. Высокий его лоб был прорезан морщинами, и две глубокие борозды шли по обеим сторонам прямого, с небольшой горбиной, носа; но тщательно выбритые щеки, казалось, не поддавались влиянию времени: они были свежи, гладки и румяны. Густые светлокаштановые волосы на голове, подстриженные, как требовала форма, едва серебрились, и только короткие колючие усы были совсем седы. Прическу адмирал носил старинную: небольшой подфабранный кок возвышался над серединой лба, как петуший гребень, а виски прикрывались широкими, вперед зачесанными, гладкими прядками.

В свое время Ветлугин был лихим капитаном, и суда, которыми он командовал, всегда считались об-

разцовыми по порядку, чистоте, железной дисциплине и «дрессировке» матросов. У него, как любовно говорили старые моряки, были не матросы, а «черти», делавшие чудеса по быстроте и лихости работ. Но даже и в давно прошедшее жестокое время, когда во флоте царили линьки, и зверская кулачная расправа считалась обязательным элементом морского обучения, Ветлугин выделялся своей жестокостью, так что матросы называли его между собою не иначе, как «генерал-арестантом» или «палачом-мордобоем». За малейшую оплошность он наказывал беспощадно. Офицеры боялись, а матросы положительно трепетали грозного капитана, когда он, бывало, стоя на юте и опершись на поручни, зорко наблюдал, весь внимание, за парусным учением.

И матросы действительно работали, как «черти», восхищая старых парусных моряков своим, в сущности ни к чему не нужным, проворством, доведенным до последнего предела человеческой возможности. Еще бы не работать, подобно «чертям»! Матросы знали своего командира, знали, что если марсели на учении будут закреплены не в две минуты, а в две с четвертью, то капитан, наблюдавший за продолжительностью работ с минутной склянкой в руках, отдаст приказание «спустить шкуру» всем марсовым опоздавшего марса. А это значило, по тем временам, получить от озверевших боцманов, под наблюдением не менее озверевшего старшего офицера, ударов по сту линьком — короткой веревкой, в палец толщины, с узлом на конце.

Почти после каждого учения на баке корабля производилась экзекуция десятков матросов. Виноватый спускал рубаху и, заложив за голову руки, становился между двумя боцманами; те по очереди, с расстановкой, били несчастного линьками между лопатками. Матрос, с бледным от страдания лицом, при каждом ударе беспомощно изгибая спину, вскрикивал и стонал. Синева выступала на теле, и затем кровь струилась по истерзанной, обнаженной спине.

Разумеется, не всем бесследно проходили подобные наказания. Многие после трехмесячного плавания

под командой «генерал-арестанта» заболели, чахла, делались, по выражению того времени, «негодными» и, случалось, провалявшись в госпитале, умирали. Никто об этом не задумывался и менее всего Ветлугин. Он поступал согласно понятиям времени, и совесть его была спокойна. Служба требовала суровой муштровки, «лихих» матросов и беззаветного повиновения, а жестокость была в моде.

Этот же самый Ветлугин, спокойно, с сознанием чувства долга «спускавший шкуры» с людей, в то же время неустанно заботился о матросах: об их пище, обмундировании, частных работах, об их отдыхе и досуге. Боже сохрани, было у него на корабле потревожить, без крайней необходимости, команду во время обеда или ужина, или в то время, когда она, по судовому расписанию, отдыхает. Он запарывал шкиперов, баталеров и каптенармусов, если замечал злоупотребления. Отдача под суд грозила ревизору, если бы Ветлугин заметил, что матроса обкрадывают. Он презирал казнокрадов и, сам до щепетильности честный, никогда не пользовался никакими, даже и считавшимися в те времена «безгрешными», доходами в виде разных «экономий» и «остатков». Все эти «экономии» и «остатки» шли на улучшение пищи и одежды матросов. У него в экипаже¹ матросы всегда были щегольски одеты, ели отлично, имели и на берегу по чарке водки и получали на руки незначительные деньги в дополнение к своему скудному жалованию. В этом отношении Ветлугин был безупречен.

Тошно так же он не терпел nepотизма и никогда ни о чем не просил даже за своих сыновей. Старшего своего сына, моряка-офицера, служившего на эскадре, которой, уже адмиралом, командовал Ветлугин, он так донекал, был до того к нему строг и придирчив, что сын просил о переводе в другую флотскую дивизию, чтобы только не быть под начальством грозного адмирала-отца. Если он и просил за сыновей, то для того только, чтобы им не мирволили и держали в сжовых рукавицах.

¹ Экипаж флотский то, что в армии полк.

Прокомандовав в течение многих лет эскадрами, Ветлугин был наконец произведен в полные адмиралы и получил почетное береговое место в Петербурге.

В описываемое время адмирал Ветлугин давно был на покое и не плавал, перестав быть грозою во флоте. Ему уже не приходилось следить зорким напряженным глазом с подзорной трубою в руках, со своего флагманского столушечного корабля, за любимой своей эскадрой, шедшей в бейдевинд, под марселями и брамселями, двумя стройными колоннами, в составе нескольких кораблей и фрегатов, с легкими посылочными судами — шкунами и тендерами, плывущими, словно маленькие птички, по бокам гордых кораблей-лебедей, — не приходилось, говорю, следить за эскадрой, которой он только что приказал сделать сигнал: «прибавить парусов и гнать к ветру!» Уж он не любит быстрого исполнением сигнала и не видит перед собою этих моментально окрылившихся всеми парусами кораблей, которые быстро понеслись по морю. Не видит он и этого, совсем накренившегося тендера, под командою его сына, молодого лихого лейтенанта, — тендера, под всеми парусами несущегося к адмиральскому кораблю. Он проносится под самой кормой адмирала и, получив на ходу приказание итти в Севастополь, мастерски делает крутой поворот и, чертя бортом воду, мчится словно чайка, скрываясь от глаз по обыкновению на вид сурового, но в душе довольного адмирала-отца.

Да, ничего он этого не видит, да и не на что теперь смотреть! Парусным судам подписан смертный приговор, и уже паровые корабли плавают в море, попыхивая из труб черным густым дымом, оскорбляющим мысленный взор старого «парусника», презрительно называющего новые суда «самоварами», благодаря которым исчезнут будто бы настоящие лихие моряки и «школа».

Теперь адмиралу приходилось лишь вспоминать прошлое в тиши своего кабинета или с такими же представителями старой эпохи, как он сам, стариками-адмиралами, слегка фрондируя и презрительно

подсмеиваясь над новыми порядками и реформами, введившимися во флоте в то время общего преобразовательного движения, охватившего Россию вслед за крымской войной.

Старый адмирал чувствовал, что песня его спета бесповоротно и что на свете совершается нечто для него неожиданное и не совсем понятное. Все незыблемые, казалось, устои колебались. Освобождение крестьян было на носу. Отовсюду веяло чем-то новым, каким-то духом свободы и обновления. Во флоте собирались отменить телесные наказания. В «Морском сборнике», которого адмирал был подписчиком, печатались диковинные статьи: о свободе воспитания, о необходимости реформ, причем осменялись старые морские порядки и выражалось негодование на жестокое обращение с людьми. Мичманы, казалось адмиралу, уже не с прежней почтительностью отдают ему честь при встрече. Адмирал был несколько ошеломлен, но не смирился перед требованиями времени.

Его особняка на Васильевском острове, повидимому, несколько не коснулась новая жизнь. Там он по-прежнему оставался грозным адмиралом, считая свою квартиру чем-то вроде корабля. Он сделался еще суровее, по-прежнему не удостоивал никого из семьи разговором, предпочитая подчас лучше жестоко скучать в одиночестве, чем потерять тот престиж страха и трепета, который внушал он всем своим домочадцам. И все они по-прежнему продолжали трепетать перед грозным адмиралом.

Один лишь младший сын Сережа, семнадцатилетний юноша, кончивший курс в морском корпусе, всеял в адмирале, во временах, некоторые подозрения. Старикку казалось, что этот «щенок» в последнее время не так испуганно и поспешно опускает свои быстрые черные глаза под суровым взглядом адмирала, и что будто бы в глазах «мальчишки» скользит какая-то неуловимая улыбка.

Перед суровым взором адмирала до сих пор смиренно опускают глаза, чувствуя невольный страх, и жена и все дети, начиная с первенца, почтенного женатого капитан-лейтенанта, украшен-

ного орденами, и вдруг этот «щенок» с черными глазами как будто оказывает строптивость!

И грозный адмирал делал вид, что не замечает «щенка», когда тот приходил по праздникам из корпуса, хотя и зорко следил за ним во время обеда, сурово хмуря брови и готовый придрататься к чему-нибудь, чтобы «разнести» своего Вениамина, олицетворявшего, в глазах адмирала, ненавистный ему «новый дух».

III

Адмирал выпил свои две большие чашки кофе, поднялся и, заложив за спину руки, стал ходить по столовой своей обычной быстрой, живой походкой. Убиривший со стола Никандр заметил, что адмирал часто вздергивает плечами и по временам издает отрывистые звуки, точно прочищает горло, — значит, он не в духе, — и Никандр спрашивал себя: отчего это? Уж не узнал ли он, сохрани бог, что Леонид Алексеич (третий сын адмирала, кавалерийский офицер) кутит и играет в азартные игры? Об этом Никандр прослышал от лакея Леонида Алексеевича и сокрушался за молодого барина, зная, что добра не будет, если адмирал как-нибудь узнает про это. Или не заметил ли барин вчера, что на половине барыни гости оставались после одиннадцати часов? Или уж не из-за Варвары ли дело? Не встретил ли он кого-нибудь у новой своей сударки?

Не разрешив однако причины дурного настроения адмирала, Никандр пошел убирать кабинет и спальню. «Ужо будет гроза!» — подумал старый камердинер, мрачно вздыхая.

К семи часам повар Ларион уже стоял у дверей, выжидая, когда барин обратит на него внимание. Он наконец обратил и, приблизившись к повару, — который низко поклонился и затем замер, вытянув руки по швам, — быстро, точно и ясно заказал обед (адмирал распорядился всем в доме сам) и крикнул:

— Понял?..

— Понял, ваше высокопревосходительство!

Затем адмирал, по обыкновению, осведомлялся: что сегодня готовят для людей? (Для людского обеда было недельное расписание на каждый день.) Ларион доложил, что кислые щи с говядиной и пшенная каша с маслом. Тогда адмирал шел в кабинет, доставал из письменного стола деньги и, возвратившись, неизменно говорил суровым тоном, подавая повару деньги:

— Не транжирь... смотри!

— Слушаю, ваше высокопревосходительство! — так же неизменно отвечал Ларион и стоял, как вкопанный, пока адмирал не говорил ему: «Пошел!» или не делал соответствующего знака рукой.

Ровно в восемь часов, когда на военных судах поднимается флаг и гойс и начинается день, адмирал уже был в свертке, застегнутый на все пуговицы. Маленькие остроконечные воротнички, в виде треугольников, торчали из-за черную шелкового шейного платка, обмотанного, по старинному, поверх другого платка — белого. Одет он был всегда не без щегольства и любил душить.

Через четверть часа он неизменно шел гулять, несмотря ни на какую погоду, и, проходя прихожую, обыкновенно спрашивал у Никандра, махнув рукой по направлению к половине адмиральши:

Спят?

Точно так!

Адмирал недовольно кричал, надевал пальто и фуражку и выходил на улицу. Гулял он час или полтора и всегда по Васильевскому острову. На набережной он иногда останавливался и смотрел, как грузятся иностранные пароходы, и, видимо, сердился, если работали тихо, сердился и уходил. При встречах хорошеньких женских лиц адмирал молодцевато приосанивался, и с лица его сходило обычное суровое выражение. К женщинам адмирал чувствовал слабость и, несмотря на свой преклонный возраст, был порядочным-таки ловеласом. Когда он разговаривал с дамами, особенно молодыми и красивыми, глядя на него, нельзя было подумать, что это грозный адмирал. Он словно весь преобразался: был

окна и принялся за книгу, но ему не читалось. Он нервно поднялся и заходил по кабинету, поводя плечами и сжимая кулаки.

Видимо, старик был не в духе.

IV

В это самое время в спальне у адмиральши шло совещание.

Адмиральша, высокая, полная, белокурая женщина, за пятьдесят лет, с кротким нежным лицом, сохранившим еще остатки замечательной красоты, советовалась с дочерьми: Анной, немолодой уже девицей около тридцати лет, и молоденькой и хорошенькой Верой, насчет покупки разных вещей к осени, необходимых для нее и для дочерей. Сумма выходила довольно крупная, и это пугало адмиральшу. У нее на руках не бывало денег; за каждым рублем приходилось обращаться к мужу, и надо было улавливать хорошее его настроение, чтобы получение денег обошлось без неприятных сцен.

Эта женщина, выданная по шестнадцатому году замуж за Ветлугина, которого до замужества она видела всего два раза, представляла собой редкий пример кротости, терпения и привязанности. Своей воли у нее не было, — муж давно обезличил жену. И несмотря на всегдашнее его полупрезрительное отношение, несмотря на суровый его гнет, она продолжала боготворить мужа, как какое-то высшее существо, боялась и в то же время любила его с какой-то собачьей преданностью. Давно уже лишенная его супружеского внимания, она втайне ревновала, оскорблялась его частыми неверностями и посторонними связями, не смея, разумеется, заикнуться об этом.

После долгого совещания дамы решили пока ограничиться двумястами рублей. Адмиральша сейчас же пойдет в кабинет.

Подойдя к дверям кабинета, она заглянула в замочную щелку. Адмирал, только что переставший ходить, сидел за письменным столом. Адмиральша пе-

рекрестилась и тихо стукнула в двери. Ответа не было. Она постучала сильнее.

— Можно! — раздался резкий, недовольный голос.

— Здравствуй, Алексей Петрович! Прости, что беспокою! — проговорила адмиральша своим тихим, певучим, несколько дрожащим от волнения голосом, приближаясь к столу.

— Здравствуй!..

Адмирал протянул жене руку (они уж давно не целовались при встречах) и, не поднимая головы, резко спросил:

— Что нужно?

Адмиральша, говорившая всегда медленно, зато-ропилась:

— Анюте и Бере необходимы платья и башмаки. И у меня тальма совсем старая, ей уж шесть лет. Кроме того...

— Сколько? — перебил ее адмирал.

— Надо бы по крайней мере двести рублей, но если ты находишь, что это много, я могу и не делать тальмы.

На лице адмирала выразалось нетерпение. Он не выносил многословия, а адмиральша не умела говорить с морской краткостью.

— Короче, Анна Николаевна! Я спрашиваю: сколько?

— Двести рублей.

Адмирал вынул из стола пачку и, подавая жене, сказал:

Сосчитай!

Та пересчитала и поблагодарила за деньги.

— Очень то франтить не на что. Скажи им. Слышишь?

— Самое необходимое.

И спросила:

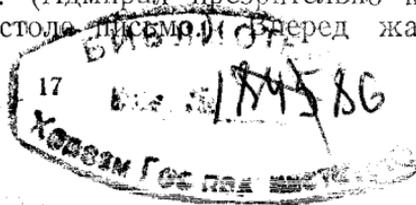
— Можно нам взять карету?

— Возьмите!

Адмиральша повернулась было, чтоб уходить, как адмирал вдруг сердито проговорил:

Вчера... письмо... (Адмирал презрительно кивнул на лежавшее на столе письмо) Перед жало-

2 К. М. Станюкович



013847

ванье, а? Пишет: «необходимо»? Мотыга! Видно, на кутежи... на шампанское!?

Адмирал зашевелил усами и продолжал после паузы:

— Предупреди этого болвана, чтобы не смел писать, и скажи, что я ни копейки не буду ему давать, коль скоро он не перестанет мотать... Тоже принц... Кутить!

Адмиральша сразу догадалась, о ком идет речь, и, пробуя заступиться за своего любимца, робко и тихо промолвила:

— Я ничего не слыхала... Кажется, Леня...

— Не слыхала?! — перебил адмирал, передразнивая жену. — Не слыхала!? — повторил он, поднимая на адмиральшу злые глаза. — Ты ведь ничего не слышишь, а я не слыхал, а знаю! Так скажи ему, когда он покажется, что на кутежи денег у меня нет... Слышишь?

— Я скажу, — совсем тихо проронила адмиральша.

— Не то я с ним поговорю... Необходимо!? Кую я, что ли, деньги? Скотина! — вдруг крикнул адмирал и стукнул кулаком по столу так громко, что адмиральша вздрогнула. — Я ему покажу форсить! На Кавказ в армию упрячу подлеца. Так и скажи... Стунай! — резко оборвал адмирал, отворачиваясь.

Адмиральша вышла испуганная, с тревогой в сердце. Этот Леонид, в самом деле, безумный. Вздумал писать отцу! Не один уж раз давала она потихоньку своему любимцу свои брильянтовые вещи, умоляя его не кутить, а он...

«Надо серьезно с ним поговорить. Отец исполнит угрозу!» — подумала адмиральша, не подозревая, какой страшный сюрприз готовит всей семье беспутный красавец Леня и какую штуку удерет сегодня Сережа — этот «непокорный Адольф», как шутя звали младшего сына мать и сестры за его речи, совсем диковинные в ветлугинском доме.

Перед самым обедом семья адмирала должна была собираться в гостиной.

Боже сохрани, если в это время Ветлугин заставал там какого-нибудь гостя, приехавшего с визитом и не догадавшегося уйти до появления адмирала в гостиной, то есть за пять минут до четырех часов. В таких случаях адмиральша сидела как на иголках, а дочери в страхе волновались, особенно если гость был мало знаком адмиралу, молод и из статских, к которым старый моряк не очень-то благоволил, называя их презрительно «болтливыми сороками».

Увидав в гостиной постороннего, адмирал хмурил брови и недовольно крякал, еле кивая головой в ответ на поклон гостя. Он выжидал минуту, другую, затем вынимал из-за борта сюртука свою английскую, старинного фасона, золотую луковицу — полухронометр (хотя отлично знал время) и, взглянув на часы, говорил:

— Мы, кажется, обедаем в четыре!

Адмиральша и дочери краснели, не смея взглянуть на гостя. Тот, сконфуженный, вскакивал, рассыпаясь в извинениях, и, откланявшись, поспешно исчезал, порядочно-таки напуганный суровым моряком, и, случалось, слышал из залы резкий голос адмирала, спрашивающего у жены:

— Это еще что за пахал?

Адмиральша робко объясняла, что это камер-юнкер Подковкин... Приезжал с визитом... Он очень хорошо принят у адмирала Дубасова и вообще...

— Женихов ловите? — перебивал старик, поводя на дам презрительным взглядом. — Этот ваш Подковкин — или как там его?.. хам! Засиживается до обеда. Чтоб я его больше никогда не видал! — резко обрывал Ветлугин.

И бедной адмиральше, очень любившей общество и большой охотнице поболтать всласть, особенно на романтические темы, приходилось иногда отказывать знакомым, которые не нравились мужу, или же звать

их в те вечера, когда адмирал бывал в английском клубе.

В этот день в гостиной, по счастью, чужих не было. К обеду явились сыновья Николай и Григорий, молодые офицеры, и Сережа, отпущенный из корпуса по случаю завтрашнего праздника.

В ожидании адмирала разговаривали тихо и остерегались смеяться. На всех лицах была какая-то напряженность. Один лишь Сережа, стройный, гладко остриженный юноша в кадетской форме, с живой, подвижной физиономией и бойкими черными глазами, похожий своей наружностью на мать, а живостью манер и темпераментом — на отца, о чем-то с жаром шептал любимой сестре Анне, которой он поверял все свои тайны и заветные идеи, юные и свежие, как и сам этот юноша, выраставший в эпоху обновления.

Анна слушала своего фаворита с выражением изумления и испуга на своем серьезном и добром лице и, когда Сережа остановился, тихо воскликнула:

— Ты с ума сошел, Сережа?

Юноша усмехнулся. Он с ума не сходил... Напротив, он за ум взялся... Он обдумал свое намерение и решил поговорить с отцом...

— Да разве он тебе позволит?

— Я постараюсь убедить его.

— Ты? Папеньку!?

— Да, я! — задорно отвечал Сережа. — Он тронется горячей просьбой... Не каменный же он... Помнишь, Нюта, маркиза Позу? Подействовал же он на короля Филиппа?.. Ведь подействовал?

Но сестра, не разделявшая иллюзий юного маркиза Позы, с видом сомнения покачала головой.

— Ах, Нюта, как жаль, что ты не читала «Темного царства»! — снова заговорил вполголоса Сережа. — Прелесть! Восторг! Ты должна прочитать... Я тебе принесу «Современник»... Ты увидишь, Нюта, к чему ведет родительский деспотизм... У нас здесь то же темное царство, и вы все...

Сережа вдруг смолк, оборвавши речь. Смолкли и другие разговаривавшие. В гостиную вошел адмирал,

по обыкновению, ровно за пять минут до четырех часов.

Все, кроме адмиральши, поднялись и поклонились. Адмирал кивнул головой, ни на кого не глядя, и заходил взад и вперед, поводя плечами и хмурия брови. Все снова уселись и заговорили шопотом. Эта атмосфера боязливого трепета, повидимому, нравилась старому адмиралу, и он в присутствии семьи обыкновенно напускал на себя самый суровый вид и редко, очень редко, удостаивал обращением к кому-нибудь из членов семейства.

— Ты видишь? Папенька сегодня не в духе! — шепнула Анна на ухо Сереже.

— Не в духе? Он у вас всегда не в духе... Самодур! А вы трепещете, как рабы, хоть и считаете себя людьми! — отвечал вполголоса Сережа, и его возбужденное лицо дышало презрением.

Анна громко кашлянула, чтобы отец не услышал Сережиных слов, и, умоляюще взглядывая на брата, сжала ему руку.

Адмирал покосился на Сережу, но, очевидно, не слышал, что он говорил. Он продолжал ходить по гостиной и, не обращая, казалось, ни на кого внимания, достал из кармана красный фуляровый носовой платок, высморкался и обронил его.

Гриша первый со всех ног бросился поднимать платок и подал его отцу с самой почтительной улыбкой, свившей на его красивом лице. Казалось, он весь был необыкновенно от этого счастлив. Голубые его глаза светились восторгом. Адмирал даже не поблагодарил молодого офицера, а как то сердито вырвал у него платок и спрятал в карман.

Этот Гриша или, как все его звали, «тихоня Гриша» был самым почтительный и, казалось, самый преданный сын, к которому адмирал ни за что никогда не мог придаться. Тихий и рассудительный, исполнявший свои сыновние обязанности с каким-то особенным усердием, глядевший в глаза отцу и матери, сдержанный и скромный не по летам, он, несмотря на все свое доброобразие и старание всем понравиться, не пользовался однако большой любовью в

семье. И сам грозный адмирал, казалось, нисколько не ценил ни его всегдашней угодливости, ни его почтительно-радостного вида и был с ним резок и сух, как и с другими детьми, исключая первенца Василия, командира корвета, и двух старших замужних дочерей-генеральш.

— Наш-то «Лукавый царедворец»! — шепнул сестре Сережа, указывая смеющимися глазами на брата, которого Сережа недолюбливал, считая его отчаянным карьеристом и угадывая в нем, несмотря на его смиренную скромность, хитрого и пронирыливого эгоиста.

Анна строго покачала головой. «Молчи!» дескать.

— Далеко пойдет Гришенька. Спинка у него гибкая! — продолжал шептать Сережа.

Адмирал вдруг сделал крутой поворот и остановился перед Сережей.

Кроткая Анна в страхе побледнела.

— Ты почему не в корпусе? — грозно спросил адмирал.

— Завтра праздник! — отвечал чуть дрогнувшим от волнения, но громким голосом Сережа, вставая перед отцом.

Адмирал с секунду глядел на «щенка», и в стальных глазах его, казалось, готовы были вспыхнуть молнии. Анна замерла в ожидании отцовского гнева. Но адмирал внезапно повернулся и снова заходил по гостиной, грозный, как неразряженная туча.

Через минуту появился Никандр, весь в черном, в нитяных перчатках, с салфеткой в руке, и мрачно-торжественным тоном провозгласил:

— Кушать подано!

Адмирал быстрыми шагами направился в столовую, и все, с адмиральшей во главе, двинулись вслед за ним.

— Прикуси ты свой язык, Сережа! — заметила Анна, шедшая с братом позади.

— Нет, ты лучше посмотри, Нюточка, на «Лукавого царедворца»! Идет-то он как!

— Как и все, думаю...

— Нет, особенно... Приглядишь: в его походке и

смирение и в то же время скрываемое до поры величие будущего военного министра... Гриша хоть и прапорщик, а втайне уж мечтает о министерстве... Он, наверное, будет министром.

— А ты всегда останешься невоспитанным болваном! — чуть слышно и мягко проговорил, оборачиваясь, Гриша.

— Слушаю-с, мой высокопоставленный и благовопитанный братец! Не забудьте и нашу милость, когда будете сановником! — отвечал, улыбаясь, Сережа, отнесясь брату почтительно-церемонный поклон.

— Осел! — шепнул Гриша, бледнея от злости.

— Тем лучше, чтобы иметь честь служить под вашим начальством! — отпарировал Сережа, умевший доводить сдержанного брата до белого каления.

— Сережа, перестань! — остановила его Анна, не переносившая никаких ссор и бывшая общей миротворицей в семье.

— Я молчу... А то господин военный министр, пожалуй, прикажет своим нежным голоском расстрелять Сергея Ветлугина! — произнес с комическим страхом Сережа.

— Ах, Сергей, Сергей! — попеняла, улыбаясь кроткой улыбкой, Анна и значительно прибавила:

— Надеюсь, ты отложишь свое намерение и не будешь говорить с отцом?

— Не надейся, ангелоподобная Анна... Ты пойми, голубушка: я обязан говорить...

— Безумный, упрямый мальчишка! — прошептала с сокрушением Анна, пожимая по-отцовски плечами, и вошла вместе с юным «маркизом Позой» в обширную, несколько мрачную столовую.

VI

Выпив крошечную рюмку полынной водки и закусив куском селедки, адмирал, выждав минуту-другую, пока закусят жена и дети, сел за стол и заложил за воротник салфетку. По бокам его сели дочери, а около адмиральши, на противоположном конце, — сыновья. Два лакея быстро разнесли тарелки

дьявольски горячего супа и подали пирожки. Адмирал подавил в суп лимона, круто посыпал перцем и стал стремительно глотать горячую жидкость деревянной ложкой из какого-то редкого дерева. Три такие ложки, вывезенные Ветлугиным из кругосветного плавания, совершенного в двадцатых годах, всегда им употреблялись дома.

Остальным членам семейства, разумеется, было не особенно удобно есть горячий суп серебряными ложками и поспевать за грозным адмиралом, обнаруживавшим гневное нетерпение при виде медленной еды, — и почти все домочадцы, не доедая супа, делали знаки лакеям, чтобы они убирали тарелки, пока адмирал кончал. Если же, на беду, старик замечал убранную нетронутую тарелку, то с неудовольствием замечал:

— Мы, видно, одни фрикасе да пирожные кушаем, а? Тоже испанские гранды! — язвительно прибавлял Ветлугин.

Почему именно испанские гранды должны были есть исключительно фрикасе и пирожные, — это была тайна адмирала.

Все молодые Ветлугины, впрочем, довольно искусно надували его высокопревосходительство на супе, и старику редко приходилось ловить неосторожных, то есть не умевших во-время мигнуть Пикандру или Ефрему.

Обыкновенно обед проходил в гробовом молчании, если не было посторонних, и длился недолго. Обычные четыре блюда подавались одно за другим скоро, и вышколенные лакеи отличались проворством. Среди этой томительной тишины лишь слышалось тикание маятника да чавканье грозного адмирала. Если кто и обращался к соседу, то шепотом, и сама адмиральша избегала говорить громко, отвечая только на вопросы мужа, когда он, в редких случаях, удостоивал ими жену.

Зато сам адмирал иногда говорил краткие, отрывистые монологи, ни к кому собственно не обращаясь, но, очевидно, говоря для общего сведения и руководства. Такие монологи разнообразили обед, когда ад-

мирал бывал не в духе. Все в доме звали их «бенефисами».

Такой «бенефис» был дан и сегодня. Туча, не разразившаяся грозой, разразилась дождем сердитых и язвительных сентенций.

Как только адмирал скушал, со своей обычной быстротой, второе блюдо и запил его стаканом имбирного пива, выписываемого им из Англии, — он кинул быстрый взгляд на своих подданных, поспешно уплетавших рыбу, с опасностью, ради адмирала, подавиться костями, — и вдруг заговорил, продолжая вслух выражать то, что бродило у него в голове, и не особенно заботясь о красоте и отделке своих импровизаций.

— Мальчишка какой-нибудь... офицеришка... Шиш в кармане, а кричит: «Человек, шампанского!» Вместо службы, как следует порядочному офицеру, на лихацах... «Пошел! Рубль на чай!» Подлец этакий! По трактирам да по театрам... Папироски, вино, карты, бильярды... По уши в долгу... А кто будет платить за такого негодяя? Никто не заплатит! Разве какая-нибудь дура-мать! Такому негодяю место в тюрьме, коль скоро честь потерял... Да! В тюрьме! — энергично подчеркнул адмирал, возвышая и без того громкий голос, точно кто-нибудь осмеливался выражать сомнение. — А поди ты... Пришел этот брандахлыст в трактир, гроша нет, а он «шампанского!» — снова проговорил адмирал, передразнивая голос этого воображаемого «негодяя», без гроша в кармане требующего, по мнению адмирала, шампанского.

Все отлично понимали, что грозный адмирал главным образом имел в виду отсутствующего беспутного Леонида. Но и Николай, добродушный и веселый поручик, не без некоторого права мог наматывать на свои шелковистые темные усы адмиральскую речь, ибо тоже был повинен и в лихацах, и в ресторанах, и в долгах, хотя и не походил, разумеется, в полной мере на того «брандахлыста», которого рисовала фантазия грозного адмирала.

И Николай, как и все, сидевшие за столом, слушал грозного адмирала, опустивши глаза в тарелку и со страхом думая: как бы отец не проведал об его

долгах и не лишил сорока рублей, которые давал ежемесячно. Сережа слушал без особенного внимания, занятый думами о речи, которую он, по примеру маркиза Позы, скажет адмиралу после обеда. Эти думы, однако, не помешали ему перегляднуться с сестрой Анной взглядом, говорящим, что «бенефис» к нему не относится.

Гриша не опустил очей своих долу. Напротив, он впился в адмирала своими большими и красивыми голубыми глазами и весь почтительно замер, боясь, казалось, пропустить одно слово и внимая, как очарованный. И его нежное румяное лицо женственной красоты светилось выражением безмолвного одобрения доброго преданного сына, сознающего, что он чист, как горлица, и что отцовские угрозы его не касаются.

Но напрасно он тщился обратить на себя внимание адмирала. Ветлугин не видал его, а смотрел через головы, куда-то в угол столовой, и, после небольшой паузы, снова заговорил:

— ...В 1796 году, когда меня с братом Гавриилом привезли в морской корпус, покойный батюшка дал нашему дядьке пять рублей ассигнациями для нас... И с тех пор ничего не давал... Я офицером на свое жалованье жил... Каждая копейка в счету... И никогда не должен... А теперь?.. Всякий: «пожалуйте, папенька, денег!» Шалыганы!.. Государственного казначейства мало мотыгам!

Гриша одобрительно хихикнул, правда, очень тихо, но адмирал услышал и, взглянув на сына, совершенно неожиданно крикнул со злостью:

— А ты чего вылупил на меня свои буркалы, а? Думаешь: Совершенство!.. Образцовый молодой щеголь! Тихоня! Очень уж ты тих... Из молодых да ранний... Просвирки старым генеральшам подносишь? Через баб думаешь в адъютанты попасть, а? У генеральш на посылках быть!.. Просвирки!? Это разве служба?.. Мерзость!.. Вздумай у меня только в адъютанты... Я тебя научу, как служить... А то просвирки!.. Что выдумал молодчик?.. Я с заднего крыльца не забегал, Помни это, тихоня! А еще Ветлу-

гин! В кого ты? — презрительно закончил адмирал.

Гриша слушал бледный, давно опустив свои прелестные глаза. Все испытывали тяжелое чувство, и Анна, казалось, страдала более всех за брата, которому отец бросал в глаза такие обвинения.

Между тем Никандр, бесстрастный и мрачный, уже целую минуту стоял около адмирала с блюдом жаркого. Адмирал наконец повернул голову и взял кусок телятины. Он ел и по временам раздражался отрывистыми фразами:

— Шиш в кармане, а тоже «шампанского»!.. Брандахлысты!.. Просвирку?! Лакейство... Нечего сказать: служаки...

Наконец он смолк, и все вздохнули свободнее. Остальным не попало. Туча иссякла.

— А ты что, Анна?.. Нездорова? — вдруг обратился адмирал к дочери, заметив ее бледное лицо.

Тон его был по обыкновению сух и резок, но в нем звучала нежная нотка.

Это внимание, необыкновенно редкое со стороны адмирала, смутило Анну своей неожиданностью, и она первое мгновение молчала.

— Глуха ты, что ли? Я спрашиваю: нездорова?

— Нет, я здорова, папенька...

Бледна... Выпей марсалы! — резко приказал адмирал.

Анна послушно выпила подрюмки марсалы.

— Дохлые вы все как-то! — крикнул адмирал с презрительным сожалением, покосясь на обеих дочерей, и поднялся с места.

Все встали и начали креститься, за исключением адмирала. Затем дети поклонились отцу и стали подходить к ручке адмиральши.

Адмирал прошел к себе, а остальные направились на половину адмиральши пить кофе. Адмиралу кофе подавали в кабинет.

Один лишь Сережа, несмотря на просьбы Анны, оставался в столовой, решительный, взволнованный,

готовый исполнить свое намерение. Уж в голове его готова была горячая речь, которой он надеялся тронуть грозного адмирала.

VII

И, несмотря на решимость, Сережа все-таки испытывал жестокий страх при мысли, что вот сейчас он пойдет к грозному адмиралу. Этот страх перед отцом оставался еще с детства, когда, бывало, после каждого утреннего посещения отцовского кабинета для пожелания папеньке доброго утра, няня Аксинья обязательно должна была менять ребенку панталончики, — такой панический трепет наводил один вид грозного адмирала на впечатлительного ребенка.

Детство пролетело быстро, и Сережу с юга отправили в морской корпус. Оттуда он ходил по праздникам к доброй и умной тетке, сестре матери, у которой было совсем не так, как дома. У тетки чувствовалось свободно и легко. Дядя был старый профессор, мягкий и ласковый. К ним ходили учителя и студенты, и слышались совсем иные речи. Под влиянием этой обстановки и этих речей и вырастал Сережа, пока адмирал не переехал в Петербург, и Сереже опять приходилось проводить праздники в отчем доме.

Но семя уже было заброшено в душу юноши, да и время было горячее, увлекавшее не одних юношей. И Сережа в корпусе упивался журналами, читал Белинского, обожал Добролюбова и, посещая иногда тетку, слушал восторженные речи людей, приветствовавших зарю обновления, жаждавших света знания...

Сережа все еще стоял у окна в столовой и не решался идти. Двери кабинета были открыты. Адмирал еще не ушел спать, а сидел за письменным столом и отхлебывал маленькими глотками кофе.

«Уж не поговорить ли завтра утром?» — промелькнуло в голове юноши.

Но в это мгновение Анна появилась в дверях столовой, и Сереже вдруг стало стыдно за свое малодушие. Он сделал ей знак рукой и с отвагой охотника, идущего в берлогу медведя, несмотря на умоляющий шопот Анны, храбро вошел в кабинет и в ту же секунду совсем забыл свою давно приготовленную речь.

Грозный адмирал поднял голову и, казалось, взгляд не особенно сурово.

— Папенька, — начал Сережа нетвердым, дрожащим голосом: — я пришел к вам с большой-большой просьбой, от которой зависит вся моя будущая жизнь...

Этот горячий, взволнованный тон, это возбужденное открытое лицо юноши, с дрожащими на глазах слезами, в первую минуту изумили адмирала.

— Какая там будущая жизнь?.. Что нужно? — удивленно спросил он.

— Я бы хотел серьезно учиться, чтобы быть со временем действительно полезным человеком... Папенька! Позвольте мне перейти из корпуса в университет.

— Что? — вдруг крикнул адмирал. — Повтори, что ты сказал?

И глаза адмирала зажглись огоньком. Колочие его усы заходили. Он, видимо, еще сдерживался и даже иронически улыбался, намереваясь сперва поиграть с этим смелым «щенком».

— Я говорю: разрешите мне поступить в университет! — повторил Сережа уже более твердым голосом.

Это было уж слишком! Адмирал, казалось, не верил своим ушам.

— В университет! Бунтовать? И ты, щенок, осмелился просить! ты смел, негодяй?.. Я тебе дам университет, пащенку этакому!

Сережа вспыхнул, и ноздри его задрожали, как у степного коника. Какая-то волна подхватила его. Он смело взглянул в лицо адмирала и сказал:

— Я вас серьезно прошу об этом, но если вы не позволите, я все равно...

Бледный и грозный вскопал адмирал, как ужален-

ный, с кресла. С секунду он устал свои стальные глаза на сына. Скулы его ходили. Он весь вздрагивал.

— Мерзавец! Ты смел?..

И с поднятым кулаком и с искаженным от гнева лицом он двинулся к сыну.

Сереза стал белей рубашки, и его черные глаза заблестели, как у волчонка. Он отступил шага два назад и, инстинктивно сжимая кулаки, крикнул каким-то отчаянным голосом, в котором были и угроза и мольба:

— Убейте, если хотите, меня, но бить я себя не позволю! Слышите... Я не боюсь вас!

Глаза обоих встретились, как две молнии. Должно быть, в глазах Серезы было что-то такое страшное и решительное, что грозный адмирал вдруг остановился, опустил кулак и каким-то подавленным, хриплым голосом произнес:

— Вон отсюда, мерзавец!

Сереза вышел, весь дрожа от волнения, чувствуя какой-то жгучий трепет и в то же время радостное ощущение одержанной победы над грозным адмиралом. Теперь уж он его физически не боялся, и ему вдруг стало жаль отца.

Анна, видевшая сцену в кабинете, трепещущая и скорбная, встретила брата в коридоре, увела в свою комнату и, усадив на кушетку, крепко обняла его и залилась слезами. Сереза улыбался и плакал, утешая сестру.

А грозный адмирал как сел в кресло, так и закаменел в нем. Неподвижно просидел он весь вечер и все, казалось, не мог сообразить происшедшего. До того все это было невозможно, до того непонятно адмиралу, привыкшему к безусловному повиновению и не знавшему никогда никакой препоны своей воле. И вдруг этот «щенок»! Эти решительные, смелые глаза! Уж не перевернулся ли свет?..

Он переживал едва ли не впервые горечь стыда и унижения и невольно чувствовал, что побежден «щенком», — чувствовал, и злоба охватывала старика.

Но, несмотря на эту злобу, когда он пережил ее остроту, там, где-то в глубине его души, пробивалось

невольное чувство уважения к этому смелому, энергичному «щенку». И отцовская кровь говорила, что этот «щенок» ее сын по характеру.

Все домашние, кроме Анны, были поражены и возмущены поступком Сережи. Адмиральша всплакнула, говорила, что дети ее в гроб сведут (хотя трудно было ожидать этого, судя по ее наружности), и бранила Сережу. Теперь он не может показаться на глаза отцу, пока отец его не простит... И как он смел противоречить отцу? Гадкий мальчишка! Сережа слушал упрямски матери самым покорным образом и, когда адмиральша кончила, поцеловал ее так детски-горячо, что адмиральша опять всплакнула, послала Анну в спальню за флаконом со спиртом и внезапно объявила, что она совсем больна и, в подтверждение этого факта, она приняла томный вид, легла на диван, велела покрыть себя шалью и принести французский роман.

Вера прямо объявила, что Сережа помешался, а Гриша прошипел, что Сереже не сдобровать...

— Попадет он куда-нибудь! — многозначительно прибавил Гриша...

— Будь уверен, что только не в адъютанты, — поддразнил Сережа.

Весь вечер он провел у Анны в комнате. Чай туда ему подал сам Никандр, и так сочувственно глядел на «барчука» и подал ему таких вкусных кренделей, что Сережа особенно горячо поблагодарил его и сказал:

Скоро тебе объявят, Никандр Иванович...

То же скоро, говорят, Сергей Алексеевич... А вы не огорчайтесь, неожиданно прибавил Никандр, — потерпите, и вам воля будет!

На следующее утро адмирал надел мундир и поехал к морскому министру просить о немедленном назначении Сережи на корвет, отправляющийся через две недели в кругосветное плавание на три года.

Министр с удовольствием обещал исполнить желание адмирала, хоть и несколько удивился такому желанию...

— Сын ваш кончает курс... Осталось всего полгода... Будущим летом и отправили бы молодца, ва-

ше высокопревосходительство... Или очень уж хочется ему в море?

— Он-то не хочет, да я этого хочу, ваше превосходительство.

— А что, разве пошаливает?

— Сын мой, ваше превосходительство, не пошаливает! — внушительно ответил адмирал. — Он честный и смелый молодой человек, но... захотел вдруг в студенты... Так пусть проветрится в море... Дурь-то эта и выйдет-с.

— Пусть проветрится!.. Это вы отличное средство придумали, Алексей Петрович!.. — засмеялся министр. — А то в студенты! С чем это сообразно!?

Такого сюрприза со стороны адмирала юный «маркиз Поза» не ожидал, сидя в корпусе и мечтая после производства выйти в отставку и поступить в университет.

Вместо университета пришлось торопливо собираться и во что бы то ни стало примириться с грозным адмиралом перед долгой разлукой.

VIII

До ухода корвета в море оставалось лишь три дня, а Сережа все еще не получал разрешения показаться на глаза адмирала. Адмирал словно забыл о сыне и ни единым словом не упоминал о нем при домашних. Те, в свою очередь, остерегались при отце говорить о Сереже.

Бедная адмиральша не знала, как и быть. Неужели Сережа так-таки и уйдет на целые три года в кругосветное плавание, не прощенный отцом и не простившись с ним перед долгой разлукой? Это обстоятельство крайне сокрушало добрую женщину; она немало пролила слез и немало фантазировала о том, как бы потрогательнее примирить отца с сыном и самой принять в этом примирении деятельное участие, — но, разумеется, все только ограничилось одними чувствительными мечтами несколько сентиментальной адмиральши. Заговорить с мужем о Сереже она не осмеливалась, очень хороша зная, что это ни к



чему не поведет и что муж на нее же раскричится. В подобных случаях адмирал обыкновенно сам объявлял через нее помилование опальному члену семьи, и лишь после такого объявления подвергшийся отцовской опале мог являться на глаза отцу без риска быть выгнанным.

Случалось, что такие опалы длились долго, и адмиральша помнила, как несколько лет тому назад старший сын Василий целых два месяца не допускался к отцу, вызвав его гнев каким-то неосторожно сказанным словом противоречия. А этот отчаянный мальчишка, этот безумный Сережа совершил поступок, неслыханный в преданиях ветлугинского дома. Мало того, что он дерзнул перечить отцу, он еще осмелился угрожать и сказать, что не боится его!

«И ведь действительно не испугался!» — с изумлением думала адмиральша, не понимая, как это можно не бояться Алексея Петровича. А главное, после всего, что позволил себе дерзкий сын, — он вышел целым и невредимым из отцовского кабинета. Эта безнаказанность особенно поражала и ставила втупик Анну Николаевну, помнившую былые расправы сурового отца с детьми. Она решительно не могла сообразить, как могло случиться подобное чудо.

При таких обстоятельствах страшно было и приступить к адмиралу, тем более, что последнее время он был неприступно суров. Он придирался ко всем домашним, кричал за обедом на сыновей, особенно на Гришу, один покорно-почтительный вид которого приводил, казалось, адмирала в раздражение, распекал дочерей и жену. Не далее как на днях она просила у мужа позволения сходить дочерям к тетке, и когда адмирал сказал, что «нельзя», адмиральша имела неосторожность осведомиться: «отчего нельзя?»

— Оттого, что земля кругла! Понимаешь, сударыня? — крикнул на нее адмирал, сверкнув очами.

Доставалось за это время и слугам. Никандр был несколько раз обруган, а Ефрем и повар Ларион жестоко избиты за какую-то неисправность. Одним словом, грозный адмирал бушевал, словно бы желая удостовериться после сцены с Сережей, что все ос-

тальные его подданные попрежнему трепещут перед ним, покорные его воле.

Убедившись в этом, адмирал понемногу стал «отходить».

Не решаясь говорить с мужем о Сереже прямо, адмиральша, сокрушавшаяся все более и более по мере приближения дня ухода корвета, отважилась наконец напомнить о сыне стороной и, войдя в кабинет адмирала, спросила уныло-жалобным тоном:

— Ты позволишь нам, Алексей Петрович, проводить Сережу... Через три дня корвет уходит... Можно тогда поехать в Кронштадт?

Адмирал бросил на жену презрительно-удивленный взгляд и ответил:

— Дурацкий вопрос! Конечно, проводите... И пусть все братья проводят. Дай знать своему балбесу Леониду!

И с этими словами Ветлугин опустил глаза в книгу, делая вид, что занят и разговаривать не желает.

Адмиральша ушла из кабинета грустная.

«Он, очевидно, не хочет простить Сережу!» — думала она, не получив объявления о помиловании строптивого сына.

А «строптивый сын» все это время приходил в отчий дом и уходил из него с заднего крыльца. Большую часть времени он проводил в комнате Анны, куда никогда не заглядывал отец. Там же он и ночевал, а сестра перебиралась к матери. Туда же потихоньку Никандр приносил обед и подавал чай. Все были уверены, что адмирал, отдавший приказание не пускать Сережу в дом, не знает о присутствии сына, но адмирал отлично знал об этом, хотя и делал вид, что ничего не знает.

Мать и Анна заботливо снарядили Сережу: они сделали ему статское платье и дюжину голландских рубашек, чтобы ему было в чем съезжать на берег в заграничных портах, и снабдили на дорогу деньгами — ведь до производства в офицеры Сережа никакого жалованья получать не будет! На снаряжение сына мать принуждена была заложить бриллиантовую брошь, да Анна великодушно отдала своему

любимцу весь свой капитал, сто рублей, подаренные ей отцом на именины. Не забыла Сережу и тетка.

IX

Потерпев неудачу в своей дипломатической миссии, адмиральша вошла к Анне и, увидев, что Сережа и сестра весело и оживленно беседуют, приняла обиженно-страдальческий вид и рассказала о своей бесплодной попытке перед адмиралом в самом мрачном тоне.

— Послушай, Сережа! — обратилась она вслед затем к сыну: — Отец тебя не простит... Ты так и уйдешь без отцовского благословения! — продолжала адмиральша, забывшая, вероятно, что адмирал никогда не благословлял детей и вообще не мог терпеть всяких чувствительных сцен. — Ведь это ужасно! Ты, в самом деле, страшно виноват перед отцом... Страшно виноват! — повторяла она. — А между тем ты и ухом не ведешь. Сидишь тут и весело разговариваешь в то время, когда я хлопочу о твоём прощении.

— Но позвольте, маменька... — начал было Сережа.

— Ах, не спорь, пожалуйста. Не огорчай меня еще больше. И без того я из-за тебя не сплю ночей. Вы меня все, кажется, в гроб сведете! — прибавила свою обычную фразу адмиральша, готовая и любившая поплакать при каждом удобном случае и необыкновенно скоро переходившая от слез к смеху и обратно.

— Чего же вы хотите от Сережи? — вступилась Анна. — Вы только и говорите ему каждый день, что он виноват. Пожалейте и его...

Сережа ответил сестре благодарным взглядом и мягко сказал матери:

— Допустим, что я виноват, маменька, но дела уж не поправишь. Отец не хочет даже проститься со мной... Что же мне делать?

Адмиральша несколько секунд молчала и затем,

— Он, наверное, простится с тобой! Не может быть, чтобы не простился!.. Ведь ты на три года уходишь, мой милый! — говорила адмиральша, видимо, желая утешить и себя и Сережу.

— И я так думаю! — заметила Анна.

— Ну... еще Бог весть, простит ли папенька! — встала красивая Вера.

— Ты глупости говоришь, Вера!.. — с сердцем произнесла адмиральша.

— Да вы же сами говорили, что папенька не простит... Я повторяю ваши же слова! — язвительно прибавила Вера.

— Так что же, что я говорила?.. Ну, говорила, а теперь думаю иначе... А ты не каркай, как ворона! «Говорила!» Мало ли что скажешь! Отец вот позволил всем ехать в Кронштадт провожать Сережу! — прибавила адмиральша в виде веского аргумента в пользу прощения и с укоризной взглянула на дочь.

Х

Но прошел день, прошел другой, а грозный адмирал ни слова не проронил о Сереже, и адмиральша совсем упала духом, потеряв всякую надежду на прощение сына. Она, всегда благоговевшая перед мужем и признававшая его своим повелителем, теперь даже позволила себе мысленно обвинять его, находя, что слишком жестоко так карать бедного мальчика, хотя бы и виноватого. И эти последние дни она с какой-то особенной страстной порывистостью ласкала своего Вениамина, проливая над ним слезы и кстати вспоминая, с болью в сердце, о своей грустной доле отверженной жены после рождения именно этого самого Сережи.

И все неверности мужа, все эти его связи с гувернантками, с боннами, няньками и горничными, почти на глазах, без всякой пощады ее женского самолюбия и достоинства жены, — всплывали с ядовитой горечью в воспоминаниях адмиральши, оскорбляя ее чувство затаенной ревности. И теперь он — адмиральша хорошо это знала, умея узнавать любовные шашни

словно бы осененная счастливой мыслью, значительно и торжественно произнесла:

— Знаешь, что я тебе посоветую, Сережа?

— Что, маменька?

— Иди сейчас к отцу (он не очень сердитый! — вставила адмиральша) и пади ему в ноги... Скажи, что ты сознаешь свою вину, и вообще что-нибудь в этом роде. Чувство подскажет слова. Это его тронет. Он, наверное, простит и даст тебе денег! — совсем неожиданно прибавила адмиральша такой прозаический финал к своим чувствительным словам.

Но это предложение, видимо, не понравилось Сереже, и он ответил:

— Как же я буду говорит то, чего не чувствую? Я люблю отца, но не стану бросаться ему в ноги.

— Ну и дурак... и болван... и осел! — вдруг вспылила адмиральша. — И уходи без отцовского прощения!.. Нет, решительно этот мальчишка сведет меня в могилу! — закончила она и, всхлипывая, ушла к себе в спальню.

Но не прошло и четверти часа, как она вернулась уже без слез на глазах с двумя червонцами в руке.

— Вот тебе, Сережа! Неожиданные! — проговорила она со своей обычной нежностью, улыбаясь кроткою, чарующею улыбкой, и подала червонцы сыну. — Сейчас, совсем случайно, я их нашла у себя в комодке. Вообрази, Анюта, они завалились в щель, а я-то их месяц тому назад искала, помнишь? Еще бедную Настю подозревала... Теперь нашлись как раз кстати!..

Сережа с горячностью целовал нежную, пухлую руку матери.

— Пойдемте-ка, дети, ко мне чай пить... Твое любимое варенье будет, непокорный Адольф! — продолжала адмиральша с ласковою шуткой, обнимая Сережу... — В плавании таким вареньем не полакомишься. Идем! *Он* не заглянет к нам... *Он* сейчас куда-то уехал! — прибавила адмиральша успокоительным и веселым тоном.

И, когда пили чай в ее маленькой гостиной, она так ласково и нежно глядела на Сережу и все подкладывала ему черной смородины щедрой рукой.

мужа с каким-то особенным искусством, — имеет любовницу, эту «подлую» Варвару, бывшую ее же горничную, и, конечно, тратит на нее деньги, а вот несчастный мальчик, сын его, уходит в плавание на три года, а отец не подумал даже об его нуждах.

«Он просто ненавидит Сережу!» — решила адмиральша и сквозь слезы глядела на румяного и здорового юношу с сожалением и скорбью.

— И пусть не прощается... Пусть злится! — говорила теперь адмиральша сыну. — Ты не сокрушайся об этом, мой мальчик... Он потом одумается и простит тебя. Не преступник же ты, в самом деле?

В этот канун ухода Сережи в плавание семья адмирала сидела за обедом грустная и подавленная. Отсутствие за столом опального младшего Ветлугина, накануне долгой разлуки, легло на всех мрачной тенью. Все сидели молча, потупив глаза. Адмиральша то и дело вздыхала и подносила надушенный платок к своим раскрасневшимся от слез глазам. Даже Никандр был суровее обыкновенного и своим отчаянно-мрачным видом напоминал добросовестного участника похоронной процессии.

Грозный адмирал не удостоивал обратить внимание на это всеобщее уныние и, словно в пику всем, был в отличном расположении духа. Он не поводил плечами, не кричал и, к общему удивлению, не обругал явившегося к обеду блестящего Леонида за его письмо с просьбой вперед жаловаться. Он только при виде Леонида заметил:

— Пожаловал наконец?

Как и всегда, адмирал ел с большим аппетитом, во время обеда не проронил ни слова и, казалось, ни на кого не глядел. Но Анна, хорошо изучившая отца и наблюдавшая за ним с тревогой в сердце за брата, совсем неожиданно перехватила добрый взгляд отца, брошенный на нее и тотчас же хмуро отведенный, и в ту же минуту почему-то решила (хотя и не могла бы объяснить: почему?), что отец простил Сережу и непременно позовет к себе.

И вся она внезапно просветлела. В ее больших, добрых серых глазах лучилась радостная улыбка.

Словно бы понимая ее мысли и причину этой перемены настроения, грозный адмирал кинул ей, вставая из-за стола:

— Зайди ко мне!

Анна поняла, зачем он зовет, и радостная и счастливая, без обычной робости, вошла в кабинет вслед за адмиралом.

Адмирал подошел к письменному столу и, выдвигая ящик, спросил:

— Деньги нужны?

— Вы, папенька, недавно подарили сто рублей.

— А их нет? Отдала своему любимцу?

Смущенная Анна отвечала, что отдала.

— То-то. Вот возьми! — продолжал своим обычным резким тоном адмирал, подавая сторублевую бумажку. — Не транжирь... пригодятся! Не благодари... не люблю! — остановил он Анну, открывшую было рот. — И без того понимаю людей! — прибавил грозный адмирал и, совершенно неожиданно для Анны, потренил ее по щеке своей сухой морщинистой рукой. — Постой! Отдай матери!

С этими словами Ветлугин достал из ящика толстую пачку и вручил ее Анне.

— Небось намотали на этого сумасброда? Глаза выплакали? Распустили нюни? Глупо! Ему же в пользу... Ну, ступай, да пошли сюда Сергея. Он там у вас прячется... знаю!

У адмиральши на половине все были в тревожном ожидании, и, когда увидели на пороге радостное лицо Анны, все облегченно вздохнули, предчувствуя добрые вести.

— Иди, Сережа, к папеньке. Он зовет тебя! — проговорила Анна, бросаясь на шею к брату.

— Только умоляю тебя, Сережа... будь благодарен! — взволнованно промолвила адмиральша, готовая всплакнуть на этот раз от радости. — Не забывай, что ты виноват, и проси прощения...

— Смотри, не надуй, Сережа! — папутствовали его братья. — Из-за тебя всем нам попадет!

Слегка побледневший от волнения, Сережа быстро

направился к отцовскому кабинету и постучал в затворенные двери.

— Входи! — раздался голос адмирала.

XI

Войдя в кабинет, Сережа остановился у порога.

— Здравствуй, Сергей! — произнес адмирал, поднимая голову и пристально взглядывая на взволнованного юношу.

Он в первый раз вместо «Сережи» называл сына «Сергеем» и этой новой кличкой как бы производил его в чин взрослого.

— Здравствуйте, папенька! — ответил, кланяясь, Сережа и не двигаясь с места, ожидая отцовского зова.

— Двери! — возвысил голос старик.

И, когда Сережа торопливо запер за собой дверь, адмирал проговорил:

— Подойди-ка поближе, смельчак!

— Простите меня, папенька, — начал было Сережа чуть-чуть дрогнувшим голосом, приближаясь к отцу.

Но адмирал сердито крикнул и повелительным жестом руки остановил Сережу. Этот жест красноречиво говорил, что адмирал не желает никаких объяснений.

— Смел очень! — кинул он, когда Сережа приблизился. — Помни: не всегда смелость города берет, особенно на службе. Можно и головы не сносить!

И вслед за этими словами адмирал протянул свою костлявую руку.

Сережа нагнулся, чтобы поцеловать, но адмирал быстро ее отдернул, затем снова протянул и крепко пожал Сережину руку.

Этим пожатием адмирал, казалось, не только прощал сына, но и выражал, как справедливый человек, невольное уважение к юному «смельчаку», не побоявшемуся защитить свое человеческое достоинство. И Сережа, тронутый безмолвным прощением, без упреков и угроз, которых ожидал, почувствовал, что

с этой минуты между отцом и ним устанавливаются новые отношения, и что он в глазах грозного старика уже не прежний «щенок». Он понял, как трудно было такому человеку, как Ветлугин, перенести и простить его смелую и дерзкую выходку. А между тем в неприветном, повидимому, взгляде этих серых, холодных глаз Сережа, никогда не знавший никакой ласки вечно сурового отца, инстинктивно угадывал отцовское, тщательно скрываемое чувство. И это еще более умилило Сережу.

— Когда снимаетесь? — спрашивал адмирал, взглядывая на своего Вениамина и втайне любуясь его открытым и смелым лицом.

— Завтра, в три часа дня.

— Конечно, под парами уйдете? — с презрительной гримасой продолжал Ветлугин. — А я так на стопушечном корабле в ворота Купеческой гавани, в Кронштадте, под парусами входил... И ничего... не били судов... А тебе «самоварником» придется быть... По крайней мере, спокойно... — язвительно прибавил адмирал.

— Мы большую часть плавания будем под парусами ходить! — обиженно заметил Сережа, заступаясь за честь своего корвета.

— А чуть опасные места или в порт входить... дымить будете? Ну, что делать... Дымите себе, дымите!.. Ночуешь на корвете?

— На корвете. С шестичасовым парходом уезжаю в Кронштадт!

Адмирал, никогда в жизни никуда не опаздывавший и всегда торопивший своих домашних, имевших несчастье куда-нибудь с ним отпрапляться, взглянул на часы.

— Еще час с четвертью времени! — заметил он. — Ничего с собой не берешь?

— Все на корвете.

— А часов у тебя нет?

— Нет.

— Вот возьми... верные. Сам выверял! Пять секунд ухода в сутки, знай! — говорил адмирал, подавая Сереже серебряные глухие часы с такой же це-

грот-марса-реи. К рассвету я вернулся в Гавр принимать провизию...

Ветлугин смолк. Сережа был бледней рубашки. Он понял, почему у отца был бунт, и с невольным ужасом глядел на старика.

— Необходимо было! — прибавил, словно бы оправдывая этот поступок мести, грозный адмирал, поднимая на бледного потрясенного юношу глаза и тотчас же отводя их.

У Сережи подступили к горлу слезы. Его возмущенное сердце отказывалось приискать оправдание. Он не мог понять, что «необходимо было» повесить двух человек за свою же вину и после того, как уж бунт был прекращен. Разнородные чувства наполняли его потрясенную душу: негодование и ужас, любовь и жалость к отцу, на совести которого лежит ужасное воспоминание.

— Теперь другие времена, другие порядки! — заговорил после молчания грозный адмирал. — Хотят без телесных наказаний выучить матроса, сохранить дисциплину и морской дух... Что ж? Попробуйте. Быть может, и удастся, хотя сомневаюсь.

— Наш капитан не сомневается, папенька! — взволнованно и горячо возразил Сережа. — У нас на корвете совсем не будет лишьков.

— Не будет? Но распоряжения еще нет? Телесные наказания еще не отменены!

— Все равно... капитан не хочет их... И он отдал приказ, чтобы никто не смел бить матросов, и просил офицеров, чтобы они не ругались...

— И не ругались? — усмехнулся адмирал.

— Да, папенька... Наш капитан превосходный человек.

— Ну, и поздравляю твоего капитана! — иронически воскликнул старик и нахмурил брови.

Вслед затем адмирал поднялся с кресла и, подавая Сереже двадцать пять рублей, проговорил с обычной суровостью:

— Вот тебе на дорогу... Не мотай... Помни: я некую денег. Рассчитывай на себя и бойся долгов... В портах, смотри, будь осторожнее... Всякие дамы там

есть... Остерегайся... Ну, прощай... Служи хорошо. Раз в месяц пищи, как это вы, умники, без наказаний будете плавать с вашим капитаном и содержать в должном порядке военное судно! — язвительно прибавил старик. — Мать, братья и сестры тебя завтра проведут, а я в Кронштадт не поеду... Нечего мне смотреть на ваш корвет. Я привык видеть суда в щегольском порядке, а у вас, воображаю, порядок?! От одного угля сколько пыли! Чай, чухонская лайба, а не военное судно?

Сереза хотел было возразить, что их корвет в отличном порядке и нисколько не похож на лайбу, но адмирал, видимо, не желал слушать и сказал, протягивая руку:

— Ну, будь здоров. Ступай! Не опоздай, смотри, на корвет!

И, крепко пожав Серезину руку, он направился в спальню, чтобы, по обыкновению, отдохнуть час после обеда.

Таково было прощание грозного адмирала с сыном перед трехлетней разлукой.

ХII

— Ну, что? Как он тебя простил, Сереза? Как все было? Рассказывай, рассказывай по порядку. Ну, ты вошел к нему в кабинет... А он что?

Такими словами встретила Серезу адмиральша, горевшая любопытством и очень любившая, чтобы ей все рассказывали с мелочными подробностями и с чувством.

Но Сереза, грустный и задумчивый, еще не освободившийся от первого впечатления, вызванного отцовским признанием, должен был разочаровать адмиральшу. Прощение произошло почти без слов. Никаких трогательных сцен не было.

— И отец не бранил тебя? Не упрекал? — удивлялась мать.

— Нет, маменька.

— О чем же вы так долго говорили?

— Отец давал советы насчет службы!..

— А денег дал?

— Дал и подарил часы.

— Ну, и слава Богу, что все так кончилось!..

Я, впрочем, предвидела...

— Напротив, маменька, вы говорили, что папенька не простит! — снова съязвила красивая Вера.

— Вера! Выведешь ты меня из терпения, гадкая девчонка! — вспыхнула адмиральша.

— Вера! Как можно раздражать маман? — вступился Гриша.

— Ну, ты... просвирки... Пожалуйста, без замечаний! — огрызнулась Вера и ушла.

Об отцовском признании Сережа матери не сказал ни слова, но, оставшись наедине с Анной, в ее комнате, он все рассказал сестре и, окончив рассказ, воскликнул:

— Ах, Нюта, голубчик... Ведь это ужасно... И как тяжело за отца!

— Ему, верно, еще тяжелее! — ответила потрясенная рассказом Анна. — Но не нам судить папеньку, Сережа. Пусть его судят другие! — внушительно и серьезно прибавила кроткая девушка.

В тот же вечер Сережа уехал в Кронштадт. На следующее утро вся семья адмирала приехала провожать Сережу на корвет. При прощании адмиральша дала волю слезам и возвратилась домой совсем расстрошенная.

В тот же вечер адмирал спрашивал Анну:

— С кем Сергей помещен в каюте?

— С мичманом Лопатиным.

— Ну, что, молодцом он?.. Не раскисал?..

— Нет, папенька...

— То-то!.. — одобрительно заметил адмирал.

Когда на следующий день Ветлугин увидел за обедом, что жена его вытирает слезы, он сурово заметил:

— Все еще нюнишь?.. О Сергее нечего нюнить... Лучше поплачь о своем балбесе Леониде...

Адмиральша вопросительно взглянула на мужа.

— Да, о нем лучше пореви! Этот негодяй в долгу как в шелку. Утром ко мне приходили на него жаловаться... Не платит долгов... Я ни копейки не запла-

чу. Слышишь? — грозно крикнул старик. — Пусть лучше этот подлец пулю в лоб себе пустит. Так и скажи ему!

ХІІІ

По субботам адмирал неизменно обедал в английском клубе и оставался там часу до двенадцатого, играя в вист или в преферанс. Он любил игру и играл превосходно, не прижимисто, а, напротив, рискованно, но по большой не садился. «Шальных денег для этого у меня нет!» — замечал адмирал. Азартных игр Ветлугин не мог терпеть и строго наказывал сыновьям никогда в них не играть.

— В банк играют только дураки или негодяи, — часто говаривал он.

По вечерам в эти субботы, когда адмирал отсутствовал и в доме все чувствовали облегчение, к общительной и гостеприимной адмиральше приходили гости, преимущественно товарищи сыновей, молодые люди, которых притягивала красивая Вера, блондинка с пепельными волосами и черными насмешливыми глазами. Она умела очаровывать и играть людьми, эта холодная и эгоистическая девушка, но сама не увлекалась. Кокетничая со своими поклонниками, она тайне мечтала о приличной партии, по рассудку, и возмущала старшую свою сестру Анну и своим бессердечным кокетством и своими слишком практическими взглядами на брак.

И адмиральша с дочерьми и их гости бывали до крайности смущены и испуганы, когда адмирал совсем неожиданно появлялся на половине адмиральши, в ее маленькой красной гостиной, после одиннадцати часов, возвратившись из клуба. Не обращая никакого внимания на гостей и еле кивая головой на их усиленно почтительные поклоны, адмирал начинал тушить лампы, и засидевшиеся гости торопливо и смущенно прощались и уходили при общем тяжелом молчании.

— Довольно, наболтались. Спать пора! — серд-

то говорил адмирал и удалялся, пожимая гневно плечами.

Адмиральша благоразумно молчала в таких случаях.

Иногда, заметив покрасневшееся и оживленное лицо красивой Веры, он останавливал на мгновение взгляд на дочери и презрительно кидал ей:

— Не очень-то вилай хвостом с мужчинами, принцесса! Замочишь! Ишь расфуфырилась, фуфыра!.. Неприлично!..

Подобные внезапные посещения бывали, впрочем, весьма редки и всегда лишь после проигрыша в клубе. Проигрыш свыше десяти рублей приводил адмирала в дурное расположение духа, и Никандр, знавший уже по неистовому звонку, что адмирал возвращается с проигрышем, стремглав бежал отворять двери и становился мрачней, в ожидании какой-нибудь гневной придирки. Обыкновенно же адмирал делал вид, что не знает о гостях адмиральши, и, возвратившись из клуба, прямо шел к себе, раздевался и тотчас же засыпал, как убитый.

Со своей стороны и адмиральша, любившая посидеть с гостями, принимала меры против неожиданных появлений адмирала, разгонявшего так грубо ее знакомых. Приезд адмирала из клуба стерегли, и, как только раздавался его звонок, в гостиной адмиральши уменьшали огонь в лампе, и все затихали, пока Никандр не сообщал кому-нибудь из молодых Ветлугиных, что адмирал разделся и лег поживать.

В одну из суббот Ветлугин возвратился из клуба мрачнее ночи. Против обыкновения, он не тотчас же лег спать. Облачившись в свой китайчатый халат, адмирал несколько времени ходил по кабинету, опустив голову, вздрагивая по временам точно от жестокой боли и судорожно сжимая кулаки. Губы его что-то шептали. Он присел затем к столу, написал своим крупным, стариковским почерком телеграмму, сделал в десяти словах три грамматические ошибки, и, кликнув Никандра, стоявшего в страхе за дверями, велел немедленно ее отнести.

Когда, минут через двадцать, Никандр вернулся,

в кабинете еще был огонь. Старый камердинер осторожно приотворил двери и застал адмирала сидящим в кресле перед письменным столом. Лицо его было неподвижно сурово, и взгляд серых стальных глаз спокойно жесток. Таким Никандр давно уже не видал своего барина и понял, что случилось что-то особенное с Леонидом Алексеичем. Телеграмма была адресована к нему в Царское Село. Никандр положил на стол телеграфную квитанцию и сдачу.

— Барыня не спит? — спросил адмирал.

— Изволят ложиться.

— Меня не жди... Ступай!

Но Никандр, заперев двери, не ушел, а оставался в столовой, в глубокой темноте. Удалился он лишь тогда, когда огонь в кабинете исчез и из спальни донесся кашель.

Гости адмиральши разошлись, как только Никандр доложил Анне, что барин очень сердит и посылает телеграмму Леониду Алексеичу. Анна прочла телеграмму. В ней адмирал вызывал сына с первым поездом.

Эта телеграмма встревожила Анну. Отец почти никогда не посылал телеграмм и вообще не любил их, находя, что депеши, большей частью, сообщают такие глупости, которые можно сообщить и в письме.

«Значит, случилось что-нибудь важное!» — решила Анна.

И страх за брата омрачил ее лицо и сделал ее лучистые глаза грустными.

«Каких натворил еще глупостей этот беспутный, легкомысленный Леонид? Опять приходил какой-нибудь кредитор, или отец узнал, что брат кутит и играет в банк? Тогда отец наверное исполнит свою угрозу — переведет Леонида в армию, на Кавказ, и там, в глуши, бедный, бесхарактерный брат может совсем пропасть... Это было бы ужасно! И сколько раз его предупреждали и мать и она! И сколько раз он, весело смеясь, давал им слово, что перестанет кутить. Вот теперь и будет история!»

Так раздумывала Анна, всегда близко к сердцу принимавшая всякие домашние неурядицы и горячо

любившая всех членов семьи. Она жалела беспутного брата, возбудившего, как видно, серьезный гнев отца, представляла себе ужасную сцену в кабинете и придумывала, чем бы ей помочь Леониду и как бы предотвратить грозу. Но ничего она придумать не могла и решила только завтра же, как придет брат, отдать ему свои сто рублей.

Не желая огорчать теперь же мать, Анна не сказала ей о телеграмме к ее любимцу, и адмиральша, после ухода гостей, раздевалась при помощи молодой и миловидной горничной Насти, веселая и довольная после приятно проведенного вечера. Еще бы! Сегодня один из гостей, известный молодой юрист и немножко литератор, рассказал ей две необыкновенные романтические истории и притом рассказал превосходно: со всеми подробностями и драматическими перипетиями и трагической развязкой одной истории, заставившей адмиральшу несколько раз подносить батистовый платок к глазам.

Даже сообщенное известие, что адмирал вернулся из клуба сердитый, не испортило отличного расположения духа адмиральши.

«Верно, проиграл, потому и сердитый!» — заключила она, продолжая вспоминать романтические истории и рассчитывая завтра же рассказать их своей приятельнице, адмиральше Дубасовой, такой же охотнице до них, как и сама адмиральша.

Когда Анна зашла к матери в спальню проститься, адмиральша спросила ее по-французски:

— Ты как думаешь, Анята... Ивин рассказывал действительные происшествия или сочинил их?

— А бог его знает!

— Во всяком случае необыкновенно интересно, если даже и сочинил... Ведь все это могло быть... И он уверяет, что было...

— Значит, было...

— Но он не хотел назвать фамилий героев и героинь... И, наконец, я слышала бы об этой истории... Сдается мне, что Ивин сочинил все... Но как прелестно он говорит, Анята!.. И вообще он очень интересен... А бедный Чернов, заметила Анята?

— Что, маменька?

— У него на лице что-то фатальное... страдальческое. Совсем влюблен в Веру... Вот увидишь, на днях он придет делать предложение.

— И сделает глупость! — с живостью промолвила, невольно краснея, Анна.

— Глупость?

— Еще бы! Ведь Вера не пойдет за него.

— Это почему? Чернов такой милый и порядочный молодой человек... И из хорошей семьи. И Вера сегодня была с ним особенно любезна.

— Она любит со всеми кокетничать, наша Вера, но ее сердце спокойно, и едва ли она считает Чернова достойным быть ее супругом! — промолвила, повидимому спокойно, Анна.

Но голос ее дрогнул. Этот разговор задел больную струну ее горячего сердца. Она сама давно уже тайне питала любовь к Чернову, влюбленному в ее сестру.

— Ну, и дура эта Вера! Прищипи ей, что ли, надо, чтобы влюбиться? — воскликнула адмиральша.

Анна не сочла нужным объяснить, что холодной и практической Вере нужна «блестящая партия», то есть муж с положением и большими средствами, и что сильно любить она неспособна. Анна промолчала и, простившись с матерью, медленно вышла из комнаты, оставив адмиральшу в неприятном недоумении, точно перед совершенно неожиданной развязкой романа. Дело в том, что с некоторого времени адмиральша задалась мыслью соединить два любящие сердца, уверенная, что Вере Чернов очень нравится. Что Чернов влюблен, в этом не было сомнения. Оставалось только сделать предложение. Отец наверное согласился бы на этот брак. Он, видимо, благоволил к молодому капитан-лейтенанту, пользовавшемуся репутацией образованного и блестящего моряка и уже назначенному, несмотря на свои двадцать шесть лет, командиром клипера. И вдруг все эти ее планы должны были рушиться. Анна, кажется, права.

«Глупая, холодная девчонка!» — подумала адмиральша и отпустила спать свою миловидную, с вздер-

нутым задорно носом, Настю, на которую уж адмирал в последнее время начинал пристально заглядываться и раз даже, встретив Настю в коридоре и любуясь ее «товаром» с видом опытного знатока, — взял ее за подбородок и как-то особенно крикнул.

XIV

Никандр только что помолился и собирался лечь спать в своей тесной каморке, рядом с кухней, как вдруг среди тишины, нарушаемой лишь по временам храпом повара Лариона, на кухне звякнул чей-то нетерпеливый звонок.

Никандр, со свечой в руке, пошел отворять двери и был изумлен, увидав перед собой Леонида Ветлугина. Он был, видимо, смущен и расстроен, этот блестящий красавец, высокий и статный блондин с большими черными, несколько наглыми глазами, сводивший с ума немало женщин своею ослепительною красотою. Всегда веселый и смеющийся, он был теперь подавлен.

— Отец спит? — спросил он, входя в кухню.

— Недавно легли. Теперь, верно, почивают, Леонид Алексеич! — отвечал Никандр с какою-то особенной почтительной нежностью.

— А маменька?

— Барыня, верно, еще не спит...

— Ну, и отлично... Мне надо маменьку видеть.

— Пожалуйте... Я сам посвечу... Только дозвоьте сюртук надеть...

Через минуту Никандр вернулся из каморки и сказал:

— А вам, Леонид Алексеич, барин час тому назад телеграмму послали.

— Телеграмму?

— Точно так-с... Попросят завтра с первым поездом пожаловать.

Леонид как-то весь съезжился и прошептал:

— Узнал уж?.. Ну, да все равно... Что, он очень сердит?

— Сердитые вернулись из клуба... и не сразу лег-

ли... В очень угрюмой задумчивости сидели... Да что такое случилось, Леонид Алексеич?

— Скверные, брат Никандр, дела!

— Бог даст, лучше будут, Леонид Алексеич!.. А я вот к вам с покорнейшей просьбой... Не откажите, Леонид Алексеич!.. — прибавил Никандр с почти-тельным поклоном.

— Какая просьба, Никандр?.. — удивился молодой Ветлугин.

— Быть может, вы временно в денежном затруднении-с, Леонид Алексеич... Так удостойте принять от слуги... Разживетесь, отдадите... У меня есть чetyреста рублей... Скопил-с за время службы в вашем доме...

— Спасибо, голубчик Никандр. Деньги мне дозарезу нужны... И завтра непременно, иначе беда... Я затем и к маменьке приехал... Мне много денег нужно... Попрошу ее где-нибудь достать... И у тебя возьму... Скоро возвращу...

— Об этом не извольте беспокоиться... Как будете от маменьки возвращаться, я вам их приготовлю... Искренно признателен, что приняли... и дай вам бог из беды выпутаться, Леонид Алексеич! — горячо проговорил Никандр.

— Беды-то много, Никандр... Много, братец!

Когда адмиральша увидала в этот поздний час своего любимца Леню, бледного и убитого, сердце матери екнуло от страха.

— Спасите, маменька! — проговорил Леонид.

И он стал объяснять, что ему нужно завтра же тысячу двести рублей: иначе он может попасть под суд.

— Ах, Леня, — произнесла только адмиральша и залилась слезами.

— Маменька! Слезы не помогут. Можете ли вы меня спасти? И без того мне плохо... Я должен выйти из полка и уже подал в отставку.

— В отставку?.. За что?..

— За что?.. За долги... На меня жаловались!.. — как-то неопределенно отвечал Леонид.

— Но что скажет отец?

— Что скажет? Он уже знает и завтра приказал явиться. Будет ругаться, как матрос, и прикажет не являться на глаза. Так разве можно служить в нашем полку на жалованье да с теми несчастными сорока рублями в месяц, которые он мне давал?.. Посудите сами... К чему же отец разрешил мне служить в кавалерии?.. Ну, я и наделал долгов, думал попытать счастья в игре, не повезло, и у меня на шею пятнадцать тысяч долга.

Адмиральша ахнула при этой цифре.

— Кто ж их заплатит?..

— Разумеется, не отец... Он ведь предпочтет видеть меня скорей в гробу, чем заплатить за сына. Скарעד он... Но у меня есть выход... Я женюсь на богатой.

— На ком?

— На одной вдове... купчихе... И старше меня.

— Фи, Ляня! Купчиха! какой mauvais genre!... Ветлугин — на купчихе! Отец не позволит!

— Разбирать нечего, маменька. Или пулю в лоб, или женитьба. Я предпочитаю последнее. Позволит ли отец или нет, мне теперь все равно... Мне надо выпутаться... Но пока я еще не богат, выручите меня. Понимаете ли, мне нужно тысячу двести рублей не позже завтрашнего дня... Я бросался повсюду и наконец приехал к вам. На вас, маменька, последняя надежда... Дайте ваш фермуар, я его заложу... После свадьбы выкуплю.

— Ляня, голубчик... А если отец узнает?

— Отец узнает? Что ж, вам лучше видеть меня под судом за растрату?

— Что ты, что ты, Ляня?.. Как тебе не стыдно так говорить? Бери фермуар, если он может спасти тебя от позора, мой мальчик!

Сын бросился целовать руки матери и через четверть часа ушел, оставив мать в смятении и горе.

Никандр проводил молодого Ветлугина и почтительно вручил ему все свои сбережения.

¹ Дурной тон.

— Завтра буду в одиннадцать часов! — проговорил Леонид, уходя.

— Слушаю-с, Леонид Алексеич... Быть-может, папенька за ночь и «отойдут»! — прибавил Никандр, желая подбодрить молодого Ветлугина.

Но эти ободряющие слова не утешили Леонида. Он с каким-то тупым страхом виноватого животного думал о завтрашнем объяснении с грозным адмиралом.

XV

За ночь адмирал «не отошел» и вышел к кофе мрачный и суровый. Выражение какой-то спокойной жестокости не сходило с его лица.

Отправляясь на обычную прогулку, адмирал сказал Никандру:

— Если без меня приедет Леонид Алексеич, — пусть подождет.

Он вернулся ранее обыкновенного и тотчас же спросил:

— Он здесь?

— Никак нет. Еще не приезжали!

Все в доме уже знали, что с Леонидом случилась большая беда, и что он выходит из полка. Адмиральша с трепетом ожидала свидания Леонида с отцом. Анна не смыкала всю ночь глаз и теперь сидела у себя в комнате, печальная, предчувствуя нечто страшное. Она знала непомерное самолюбие отца и понимала, как должен быть он оскорблен и отставкой сына и, главное, этой невозможной позорной женитьбой. Одна только Вера, повидимому, довольно равнодушно относилась ко всей этой истории и думала, что жениться на богатой купчихе далеко не преступление.

Наконец в одиннадцать часов приехал Леонид. Он был в своем блестящем мундире очень красив. Лицо его, бледное и взволнованное, выражало испуг. Глаза глядели растерянно.

— Ну, докладывай, Никандр, — проговорил он и хотел было улыбнуться, но вместо улыбки лицо его как-то болезненно искривилось.

Через минуту он входил в кабинет. Адмиральша в слезах послала ему из столовой благословение. Мрачный Никандр перекрестился.

При виде этого красавца-сына адмирал вздрогнул и побледнел. Ненавистью и презрением дышало его жестокое лицо.

Он не обратил внимания на поклон сына и сказал:

— Запри двери на ключ!

Когда Леонид затворил, адмирал глухим голосом, точно что-то перехватывало ему горло, продолжал:

— Подойди ближе.

Леонид приблизился.

— Остановись и отвечай на вопросы.

Он примолк на минуту и спросил:

— Правда, что тебя выгоняют из полка за долги?

— Правда, папенька.

— Только за это?

— За это.

— Лжешь, подлец! Вчера мне все рассказал твой полковой командир.

Леонид в ужасе замер.

Адмирал продолжал допрос.

— Правда ли, что ты, носящий фамилию Ветлугина, взял деньги у бедной швеи, с которой был в связи, и не отдал ей денег, так что она принуждена была жаловаться командиру полка?

— Правда, — чуть слышно прошептал Леонид.

— Правда ли, что ты дал подложный вексель, подписанный чужим именем?

— Правда! — прошептал Леонид. — Но я уплатил по этому векселю.

— Правда ли, наконец, что ты собираешься жениться на богатой вдове купца Поликарпова, бывшей содержанке князя Андросова?

— Да! — отвечал бледный, как смерть, Леонид.

— И после всего этого ты еще живешь на свете — ты, опозоривший честное имя Ветлугиных? — продолжал адмирал хриплым шопотом.

Леонид молчал в тупом отчаянии.

— Послушай... Мертвые срама не имут. Если ты

боишься, я тебе помогу... Хочешь? Пиши записку, что ты застрелился... смерть лучше позорной жизни... Пистолет у меня есть...

Адмирал проговорил эти слова с ужасающим спокойствием, и в тоне его голоса как будто даже звучала примирительная нота.

Панический страх обуял Леонида при этом жестоким предложении. Он бросился к ногам отца и стал молить о пощаде.

Тогда произошла ужасная сцена. Адмирал моментально превратился в бешеного зверя.

— Так ты не хочешь, подлец?! — заревел он и, вскочив с кресла, стал топтать ногами расprostертого сына.

И когда тот наконец поднялся, адмирал начал бить кулаками красивое, когда-то счастливое, смеющееся лицо Леонида. Его тупая, безответная покорность, казалось, усиливала ярость адмирала. Он был невыразимо отвратителен в эти минуты, этот деспот — зверь, не знавший пощады.

Отчаянный стук Анны в двери несколько отрезвил бешеного адмирала.

— Гадина! Ты мне больше не сын! — крикнул он, задыхаясь.

— А вы мне больше не отец! — в каком-то отчаянии позора отвечал Леонид и выбежал из комнаты, избитый и окровавленный.

Анна рыдала, а бедная мать была в истерике.

С тех пор имя Леонида Ветлугина никогда не упоминалось при адмирале. Его как будто не существовало.

Он женился на бывшей содержанке, уехал с ней за границу, года в два промотал женينو состояние и, вернувшись один в Россию, жил где-то в глуши. Мать и Анна тайком от отца помогали ему. Вскоре Леонид заболел чахоткой и почти умирающий написал письмо с просьбой о прощении, но адмирал не ответил на письмо сына.

Месяцев шесть спустя адмиральша пришла од-

нажды к мужу и, рыдая, сказала, что Леонид скончался.

— И слава богу! — сурово промолвил отец.

XVI

Старый адмирал, недовольно и скептически относившийся к освободительному движению шестидесятых годов, грозившему, по его мнению, разными бедами, — в то же время, по какому-то странному противоречию, не смотрел неприязненно, по примеру большинства помещиков, на крестьянскую реформу. Твердо веровавший в дворянские традиции, считавший «благородство происхождения» необходимым качеством порядочного человека, гордившийся древностью дворянского рода, Ветлугин никогда не был завзятым крепостником и, как помещик, был довольно милостивый и, по тем временам, даже представлял исключение.

Он отдал в пользование всю помещичью землю крестьянам и брал с них самый незначительный оброк, причем часто прощал недоимки, если староста, выбранный самими крестьянами, представлял резонные к тому доводы, так что крестьянам Ветлугина, знавшим о грозном барине только понаслышке от тех односельцев, которые служили у адмирала в доме, — жилось спокойно и хорошо. Барина своего они почти и не видали — усадьбы господской не было в имении — и только в последнее время, когда адмирал перешел из Черного моря на службу в Петербург и приезжал иногда по летам гостить к младшему своему брату в Смоленскую губернию, — он заглядывал в свои Починки на час, на два, встречаемый торжественно всей деревней.

Отношения между бариним и его вотчиной обыкновенно ограничивались лишь тем, что раз в год, в ноябре месяце, староста Аким, умный и степенный старик, уважаемый своими односельцами и крепко преданный интересам деревни, отсылал «сиятельному адмиралу и кавалеру», как значилось на конверте, изрядную пачку засаленных бумажек при письме, писан-

ном каким-нибудь грамотеем, под диктовку Акима. В этих письмах подробно сообщалось о всех событиях и выдающихся случаях, бывших в течение года: о рождениях и смерти, браках, очередных рекрутах, об урожае или недороде, о пожарах, падежах и т. п. Письма всегда были строго деловые, без всяких изъявлений чувств, ибо адмирал раз навсегда приказал «подобных пустяков» не писать. Адмирал немедленно же отвечал старосте о получении денег в самой лаконической форме. Иногда только в его ответных письмах прибавлялось приказание: выслать к такому-то времени на подводе с надежным человеком «расторопного мальчишку» или «девку» лет пятнадцати для службы в адмиральском доме. Относительно «девки» адмирал всегда давал некоторые пояснения, выраженные в кратких словах, а именно, чтобы выслали «почище лицом, здорового сложения, не рябую и не корявую». Приметы эти заканчивались строгим наказом своеобразного эстетика-адмирала: «тощей, безобразной и придурковатой девки отнюдь не высылать».

Надо, впрочем, сказать, что приказание о высылке «расторопных» мальчишек и «девок почище лицом» посылались не очень часто, так как штат крепостной прислуги в адмиральском доме был, для крепостного времени, не особенно велик. Во время службы адмирала в Черном море из мужской прислуги крепостными были камердинер Никандр, кучер да казачок. Обязанности лакея адмиральши и повара исполняли обыкновенно денщики из матросов. Долгое время в поварах у адмирала жил один поляк Франц из арестантских рот, особенно любимый адмиралом за его мастерское знание своего дела. И несмотря на то, что этот Франц был отчаянный картежник и пьяница и притом буйный во хмелю, часто пугавший адмиральшу своим видом, — адмирал все-таки держал Франца, хотя и нередко приказывал «спустить ему шкуру». Бесшабашный повар всегда, бывало, грозил большим кухонным ножом тому, кто подступится к нему для исполнения адмиральского повеления, и когда наконец несколько человек матросов связывали его и приводили на конюшню, он и под жестокими ударами

розог кричал, что не боится «пана-адмирала», что покажет ему себя, и при этом костил адмирала всякими ругательствами. Но когда Франц вытрезвлялся, он снова становился тихим и покорным человеком и проводил свободное время за чтением книг, держась особняком от прочей прислуги и взирая на нее даже с некоторым высокомерием шляхтича, каким он себя называл. Во время больших званых обедов Франц всегда отличался на славу. Он в такие дни остерегался напиваться и не пускал никого к себе на кухню, работая один, без помощников, в течение ночи, так что прочая прислуга пресерьезно говорила, что «поляку помогают черти». Так Франц прожил в адмиральском доме лет шесть, почти все время своего пребывания в арестантских ротах, и затем, отбыв наказание, уехал на родину, в Польшу, о которой говорил всегда с любовью и восторгом.

Женской прислуги из крепостных бывало больше. Кроме старой Аксиньи Петровны, вынянчившей чуть ли не все поколение молодых Ветлугиных и обязательно не любившей ни одной бонны и гувернантки, которым Аксинья Петровна устраивала всякие каверзы, и прачки, в доме находилось несколько молодых горничных. У адмиральши было две (одна для шитья) и по одной у каждой из дочерей, как только последние приезжали из института. По выходе адмиральских дочерей замуж, горничные эти поступали в их владение, в числе приданого.

При каждом прибытии из деревни подростка-девушки ее приводили на смотр адмиралу и адмиральше. Если привезенная была недурна собой, он как-то особенно выпячивал нижнюю губу и милостиво трепал по щеке оторопевшую и смущенную девушку.

— Ну, девчонка, смотри, служи хорошо! — говорил не особенно строгим тоном адмирал, приказывая Никандру отвести к барыне.

В таких случаях мужик, привезший девушку, получал серебряный рублевик и наказ передать старосте барское спасибо.

Но когда вновь прибывшая не отвечала почему-либо вкусам адмирала, он без всякого милостивого

Слова приказывал отвести ее к супруге и сердито выговаривал мужику:

— Лучше у вас в деревне девки, что ли, не было, что прислали такого одра?

— Не было, барин, не было, ваше светлейшее присходительство! Самую чистую тебе предоставили... Была у Корнея дочка, ничего, гожа, да в рябовинках малость...

— Ступай! — резко обрывал адмирал и недовольно кричал.

Адмиральша, напротив, бывала в последнем случае довольна. Зато, чем пригожее была привезенная девушка, тем более сжималось сердце ревнивой адмиральши, предвидевшей в очень близком будущем новое испытание для своей ревности и новое оскорбление своему самолюбию.

И, надо сказать правду, адмиральша редко ошибалась в своих предчувствиях.

Весьма часто, если не всегда, все эти молоденькие девушки делались жертвами похотливого адмирала. Если они готовились быть матерями, их выдавали замуж или отправляли обратно в деревню с приказом старосте: пристроить девку и прислать новую.

Таким образом адмирал женил и Никандра и кучера Якова. Никандр именно с тех пор, говорят, и сделался мрачным, и когда года через четыре овдовел, потеряв перед тем двух детей, адмиральских крестников, — то не обнаружил особенного горя от этих потерь и, как огня, боялся новой женитьбы по распоряжению барина. По счастью для Никандра, адмирал более не сватал своего камердинера.

Одна из таких жертв адмиральского каприза сделалась даже настоящей фавориткой влюбившегося в нее адмирала. Он нанял для нее квартиру в отдаленной Матросской слободке, отделал квартиру не без роскоши и, накупив для своей фаворитки белья и платьев, переселил ее в устроенный им «приятный любови», приставив к ней старую женщину, исполнявшую обязанности прислуги и в то же время аргуса. Нечего и говорить, что фаворитке строго запрещалось выходить куда-нибудь одной и принимать кого-нибудь.

Эта связь была, конечно, известна всем, и многие молодые мичманы частенько прогуливались в слободке, пытаясь обратить на себя внимание красивой, чернобровой Макриды с роскошной косой и ослепительными зубами. Но Макрида только лукаво играла глазами и держала себя неприступно, так что подозрительность адмирала была усилена настолько, что он позволил Макриде, вместо приставленной им старухи, нанять прислугу по своему выбору.

Так продолжалось года три. Связь эта, к ужасу адмиральши, не прекращалась, и адмирал все более и более привязывался к своей Макриде, как вдруг совершенно неожиданно фавор Макриды окончился и притом весьма для нее трагически.

XVII

Однажды адмирал, вернувшийся с эскадрой на рейд поздно вечером, съехал на берег и отправился пешком в слободку.

Был двенадцатый час на исходе теплой, душистой южной ночи. Полная луна лила свой мягкий свет на маленькие белые домики тихой спящей слободки, но в «прюге любви» адмирала, из-за густой листвы сада, весело мигал огонек. Этот огонек возбудил в адмирале подозрительное удивление, и он тихими шагами подошел к домику. Подозрение его усилилось, когда калитка оказалась незапертой. Сердито ерзая плечами, он вошел во двор и тихо постучал в двери. За дверями послышалась беготня, и испуганный голос кухарки звал «Макриду Ивановну».

Тогда адмирал, легко гнувший подковы, рванул дверь и, грозный, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, очутился в прихожей. Кухарка, увидевши барина, только ахнула и уронила в страхе свечку. Адмирал шагнул в комнаты и в ту же минуту услышал стук отворенного в спальне окна и чей-то скачок в сад. В ту же секунду адмирал разбил окно в передней комнате и, заглянув вниз, увидел при нежном свете предательницы-луны стройную фигуру по-

спешно удаляющегося знакомого молодого мичмана, на ходу натягивавшего сюртук.

Адмирал молча заскрежетал зубами в бессильной ярости, видя, как молодой мичман перелез через ограду садика и был таков.

Повернув голову, он увидел в дверях Макриду в одной рубашке, с обнаженной грудью и распущенными роскошными волосами, спускавшимися до колен. Со свечой в руках, освещавшей ее красивое, бледное, как смерть, лицо, она глядела с безмолвным ужасом на грозного адмирала. Адмирал отвел от нее взгляд, и плечи его вздрагивали. Он молчал, и это молчание обдавало смертельным холодом несчастную девушку. И она в каком-то отчаянии опустила на колени, с мольбой сложив свои обнаженные белые руки.

Адмирал молча вышел, через четверть часа был уже на пристани и отвалил на ожидавшей его гичке на свой флагманский корабль.

Вахтенный офицер, встретивший его, заметил, что адмирал был чем-то очень расстроен и имел самый «освирепелый вид».

На следующий же день весь город и вся эскадра знали о вчерашнем скандале, и между молодежью было много смеха. Адмирал с утра съехал на берег, приказав двум боцманам явиться к нему с линьками к одиннадцати часам вечера.

Целый день адмирал был мрачен. Адмиральша уже узнала о вчерашнем скандале и была очень довольна, что приводило адмирала в большое бешенство. Все в доме с трепетом ждали расправы... Уже с утра Макрида была заперта в сарай, одетая в затрапезное платье. Чудные волосы ее были, по приказанию адмирала, острижены.

В одиннадцать часов вечера адмирал, вместе с двумя боцманами, удалился в конюшню, куда привели и Макриду. Двери были наглухо затворены, но, несмотря на это, оттуда раздавались раздирающие душу крики и стоны. Потом все затихло. Адмиральша, потрясенная, теперь жалела несчастную Макриду. Полу-мертвую ее ночью отнесли в слободку и через две недели отправили еще не совсем оправившуюся в дерев-

ню, где она впоследствии спилась и через несколько лет умерла.

Дочь Макриды, слишком похожая на адмирала, была помещена на воспитание и затем отдана в пансион в Петербурге. Адмирал любил свою, как он называл, «воспитанницу», часто навещал ее, и она изредка, по воскресеньям, приходила в ветлугинский дом на короткое время. И добрая адмиральша ласкала эту девочку, наделяла ее лакомствами и нередко плакала, вспоминая свои обиды и жалея бедную «батардку», как адмиральша про себя называла девочку. Когда эта девочка шестнадцати лет умерла, — адмиральша искренно ее оплакивала и была вместе с мужем на ее похоронах.

XVIII

Вскоре после обнародования манифеста об освобождении крестьян адмирал однажды призвал сыновей в кабинет и сказал им:

— Наше родовое имение не велико... После надела останется всего пятьсот десятин... Делить его между вами не стоит... Как ты полагаешь, Василий? — прибавил он, обращаясь к старшему сыну, высокому, плотному моряку, лет тридцати пяти, очень похожему на адмирала лицом.

— Полагаю, что не стоит.

Не спрашивая мнения других сыновей, Николая и Гриши, адмирал продолжал:

— Мое намерение отдать всю землю крестьянам и не брать с них ничего за надел... Им это в пользу, и они помянут добром Ветлугиных. Не правда ли?

На лице Гриши при этих словах промелькнуло невольное грустное выражение, хотя он и первый поторопился сказать:

— Конечно, папенька... Такой акт милосердия...

— Тебя пока не спрашивают! — резко перебил адмирал, заметивший печальную мину почтительного Гриши. — Как ты полагаешь, Василий?

— Доброе сделаете дело, папенька! — отвечал моряк.



K стр. 63

— И я так думаю... Надеюсь, что и отсутствующий Сергей так же думает... А ты, Николай?

— И я нахожу, что это справедливо.

— Ну, а ты, Григорий, уже поспешил апробовать этот «акт милосердия», — иронически подчеркнул адмирал. — Значит, и делу конец.

Наступила короткая пауза, во время которой адмирал достал из письменного стола какой-то исписанный цифрами клочок бумаги и затем сказал:

— Взамен имения, которое должно бы быть разделено на четыре части, ибо сестер ваших я уже выделил деньгами, по три тысячи на каждую...

— На пять частей, папенька? — перебил отца старший сын. — Вы, верно, забыли, что всех нас пять братьев, — прибавил моряк, вспоминая об опальном Леониде.

— Я помню, что говорю! — крикнул, вспыхивая, адмирал и продолжал: — Так вместо родового имения я выдам каждому из моих четырех сыновей (адмирал подчеркнул «четырех») деньгами, какие причитаются за выкупную ссуду и за пятьсот десятин... На каждого из вас придется по четыре тысячи... Вот здесь на бумажке и расчет...

И адмирал кинул на стол бумажку, исписанную цифрами.

— Хочешь посмотреть, Григорий? — насмешливо заметил адмирал повеселевшему сыну.

Гриша покраснел, как рак, и не двинулся с места.

— Деньги эти предназначены из аренды, которую мне недавно пожаловал государь император на 12 лет по две тысячи, и которые мне выдадут сразу. Других денег у меня нет... Из этой же аренды Анна и Вера получают свои приданные деньги... Согласны?

Все, конечно, согласились, после чего адмирал их отпустил, объяснив, что Василий получит деньги через месяц, а Николай, Григорий и Сергей — по достижении тридцатилетнего возраста.

— А затем ни на что не рассчитывайте! — крикнул им вдогонку адмирал.

Когда мужики через старосту Акима узнали о милости барина, они сперва не поверили, — до того это

было неожиданно. Но бумага, присланная адмиралом старосте, окончательно убедила мужиков, и они благословляли барина, простив все его тяжкие вины относительно многих своих дочерей. Староста Аким приезжал потом в Петербург благодарить адмирала, и грозный адмирал, видимо, был тронут искренней и горячей благодарностью деревни, в лице ветхого старика Акима, которого он не допустил к руке, а милостиво пожал ему руку и несколько минут с ним беседовал.

На другой день после разговора с сыновьями адмирал сказал рано утром Никандру:

— Люди, конечно, знают о воле, которую даровал им государь император. Объяви им, что кто не хочет у меня оставаться, может через неделю уходить.

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Иди и сейчас же принеси ответ!

Никандр и без того знал, что решительно все, за исключением Алены, горничной Анны, да Настасьи, горничной адмиральши, собирались уходить. Уже давно на кухне шли об этом разговоры, и после манифеста радости не было конца. Все осеняли себя крестными знаменами и облегченно вздыхали при мысли, что они свободны и могут избавиться от вечного трепета, который наводил на всех грозный адмирал.

Через пять минут Никандр вошел в кабинет.

— Ну, что? Кто уходит?

— Ефрем, ваше высокопревосходительство.

— И пусть. Лодырь. А Ларион?

— Тоже просится...

— А Артемий кучер?

— Хочет побывать в деревне, повидать детей.

— Гм... И Федька, пожалуй, тоже уходит? — осведомился, хмурясь все более и более, адмирал о пятнадцатилетнем «казачке».

— Хочет в ученье в портные поступить, ваше высокопревосходительство! — докладывал Никандр с какою-то особенною почтительностью.

Адмирал помолчал и, сурово поводя бровями, продолжал:

— А девки?

— Алена да Настасья хотят остаться, если будет ваше желание.

Адмирал недовольно крикнул и снова помолчал.

— Нанять повара, кучера и лакея для барыни! — приказал он. — Да, смотри, людей порасторопнее... Насчет жалованья сам переговорю.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство! — отвечал Никандр, видимо, сам чем-то озабоченный.

— Двух девок довольно, — продолжал адмирал. — Алена может ходить за двумя барышнями, а если Настасья передумает и не останется, барыня сама найдет себе горничную... А прачки не нужно... Можно отдавать стирать белье...

Слушаю с!

Адмирал снова смолк и вдруг спросил:

— Ну, а ты как, Никандр? Останешься при мне или нет?

В голосе адмирала звучала беспокойная нотка.

Никандр смутился.

— Я положу десять рублей жалованья, а если тебе мало прибавлю...

— Я, ваше высокопревосходительство, не гонюсь за жалованьем. И так, слава богу, одет и обут...

— Так остаешься?

— Я бы просил уволить меня...

Адмирал насупился и стал мрачен. Этот Никандр, к которому он так привык, и тот собирается уходить. Этого он не ожидал.

А Никандр между тем продолжал робко, точно виноватый:

— Я, ваше высокопревосходительство, имею намерение сходить на богомолье, в Иерусалим.

— В Иерусалим? — переспросил озадаченный адмирал.

— Точно так-с.

— Зачем тебе туда?

— Сподобиться видеть святые места и помолиться искупителю грехов наших... Уже давно о сем было мое мечтанье, ваше высокопревосходительство.

Адмирал удивленно взглянул на Никандра, лицо которого теперь было торжественно и серьезно и не имело обычного мрачного вида.

— Ну, что ж, если ты такой дурак, ступай себе в Иерусалим! — сердито воскликнул адмирал. — Скоро собираешься? — прибавил он.

— Как разрешите, ваше высокопревосходительство!

— Мне что разрешать? Ты теперь свободный... Подыщи мне человека и уходи! — раздраженно заметил старик.

— Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство.

Никандр удалился, а адмирал долго еще сидел в кабинете, угрюмый и озадаченный.

Тяжело было вначале адмиралу привыкать к новым лицам и, главное, не видеть вокруг себя того трепета, к которому он так привык. Приходилось сдерживаться и не давать воли рукам, которые так и чесались при виде какого-нибудь беспорядка. А угодить такому ревнителю чистоты и порядка, как адмирал, было трудно. И он иногда не сдерживался и дрался... Прислуга уходила, нередко жаловалась, и адмиралу приходилось оплачиваться деньгами... Вдобавок уже ходили слухи о мировых судьях. Все эти новые порядки все более и более раздражали адмирала, и он срывал свое сердце на жене и на детях, для которых оставался прежним грозным повелителем.

Жизнь в доме становилась адом. Адмирал все делался угрюмее и злее. Обеды, когда собиралась семья, бывали мучением для всех домашних. Вдобавок адмиральша не смела уже более принимать у себя, даже и по субботам, никого из гостей, почему-либо неприятных адмиралу. По-прежнему адмирал целые дни сидел запершись у себя в кабинете, и одно сознание его присутствия нагоняло на всех испуг... Только по вечерам все вздыхало свободнее.

Адмирал почти каждый вечер уходил к новой своей фаворитке, бывшей горничной жены, Насте.

Прошел год, и младшая дочь адмирала, Вера, нашла себе жениха. Правда, он был лет на тридцать ее старше и болезненный человек, но зато генерал, с хорошим положением и состоянием. Старый адмирал, казавшийся перед генералом совсем молодым, был очень удивлен, когда, передавая предложение дочери, тотчас же получил ее согласие.

— Ты обдумала? — спросил он.

— Обдумала, папенька!

— И он тебе больше Чернова нравится?

— Он мне нравится!

— Что ж, я согласен, коли ты так хочешь... Ступай замуж... Тебе, фуфыре, давно пора...

И, взглядывая на красавицу Веру с презрением, заметил:

— Расчетлива, сударыня. Из молодых да ранняя. Ты с Григорием в масть... Пожалуй, и он на старушке женится, коли у старушки будет состояние... Поздравляю!.. Только, смотри, будь верной женой, а то и такой дохлый, как твой будущий супруг, выгонит тебя из дому, как шлюху! А уж я тебя потом не приму! — сурово прибавил адмирал.

Вера расплакалась.

— Ступай к себе нюнить! — прикрикнул адмирал. — Тоже нюня! Сама выходит за расслабленного, а туда же, обижается!..

По выходе замуж Веры, в доме адмирала стало еще мрачнее. У адмиральши почти никто не бывал, и некому ей было рассказывать любовных историй... Анна целые дни читала, а адмиральша, не умевшая обходиться без общества, стала чаще посещать знакомых и возвращалась лишь к обеду, стараясь и вечером уехать куда-нибудь поболтать.

В один из зимних вечеров адмиральшу привезли домой без чувств в карете и перенесли в спальню. Анна, оставшаяся одна дома, тотчас же послала за доктором, который объявил, что с адмиральшей удар.

Анна не отходила от матери, которая лишилась языка и только мычала, грустно поводя своими доб-

рыми глазами на всех скоро собравшихся у постели детей. Адмирала не было дома. Хотя все знали, что он проводит вечер у своей новой фаворитки, но не решались за ним послать туда. Наконец в двенадцатом часу адмирал вернулся, вошел в спальную и, увидавши жену уже в агонии, наклонился над умирающей и крепко поцеловал ее. Адмиральша, казалось, узнала мужа, как-то жалобно и грустно замычала, и крупные капли слез скатились из ее глаз. Рукой, не пораженной ударом, она взяла руку адмирала и приложила к своим запекшимся губам.

Через полчаса ее не стало, и грозный адмирал ушел из ее комнаты со слезами на глазах. Почти всю ночь он пробыл около трупа в глубокой задумчивости. О чем вспоминал он, часто взглядывая на спокойное и доброе лицо покойницы? Это было его тайной, но видно было, что совесть его переживала тяжкие испытания, потому что под утро он вышел из спальни жены совсем осунувшийся и, казалось, сразу постаревший.

Похороны были блестящие, и к весне над могилой адмиральши стоял великолепный памятник.

Первое время после смерти жены адмирал как-то притих. Он был по временам необычно ласков с Анной и за обедом не бранил сыновей и не глумился над Григорием. И со слугами был терпимее.

Но прошло полгода, и все это изменилось. Жизнь Анны стала настоящим испытанием. Адмирал точно находил удовольствие ее мучить, пользуясь ее кротостью, которая, казалось, его по временам приводила в бешенство. В минуты раздражения он корил, что она старая девка и не умела во-время выйти замуж.

— Теперь, небось, никто не возьмет! — язвительно прибавлял адмирал.

Анна со слезами на глазах уходила к себе в комнату и горько раздумывала о своей судьбе... Она видела ясно, что ее присутствие почему-то стесняет отца.

«Уж не задумал ли он жениться на Насте?» —

думала иногда Анна со страхом и отвращением, оскорбляясь за память матери.

Доставалось от адмирала и сыновьям, и они стали реже приходить обедать к адмиралу, так что часто адмирал обедал вдвоем с Анной и в это время давал волю своему раздражению.

За кроткую Анну пробовал вступиться однажды старший брат Василий. Приехавши как-то раз из Кронштадта, он пришел к отцу и стал говорить ему о тяжелой жизни Анны.

— Она тебе жаловалась на меня? — крикнул адмирал.

— Нет, не жаловалась, но я сам вижу.

— Видишь? Ты видишь? Ты за собой смотри... Яйца курицу не учат! Ступай вон! — вдруг загремел голос адмирала.

Моряк пожал плечами и пошел к Анне. Та пришла в ужас, когда узнала, что брат из-за нее поссорился с отцом, и сказала, что она не бросит отца, если только он сам не предложит ей оставить дом.

На другой же день за обедом адмирал сказал Анне:

— Ты жаловалась на меня, а?

— И не думала, папенька.

— Думаешь, братец заступится... А наплевать мне на твоего братца и на всех вас... Тоже хороши дети! Я поступаю, как хочу. Никто мне не указ. Слышишь ли, дура?

— Слышу, папенька.

— То-то же... И захочу, так и женюсь, если вздумается! — вдруг неожиданно крикнул адмирал, точно желая подразнить свою дочь. — Да... и женюсь, коли вздумаю... И женюсь!

Анна молчала и со страхом думала: «Неужели это отец серьезно говорит?»

Месяца два после этого адмирал однажды объявил ей, что хочет совсем уехать из Петербурга и поселиться где-нибудь в маленьком городке на юге.

— Стар стал и хочу отдохнуть... Да и климат там лучше... А ты оставайся здесь. Живи с Василием или с сестрой. Я тебе буду давать сто рублей в месяц...

А то мы только друг друга раздражаем. Захочешь навестить меня, буду рад!.. Не бойся, не женюсь, — шутливо прибавил он.

И скоро после этого разговора адмирал получил бессрочный отпуск и переехал в маленький глухой городок в Крыму вместе с Настей, а Анна перебралась к старшему брату Василию.

XX

Прошло более десяти лет с тех пор, как адмирал уехал из Петербурга.

Четыре первые года он прожил в маленьком глухом городке на юге, под конец соскучился в захолустье, где нельзя было иметь приличную для него партию в преферанс, и переехал в губернский город N.

Там, в небольшом одноэтажном домике, окруженном густым садом, адмирал доживал свой век, вдали от детей, вдвоем с неразлучной Настасьей, жившей у него под названием экономки.

Старый адмирал так привязался и привык к своей раздобревшей, цветущей здоровьем, пышной и румяной экономке, что страшился мысли расстаться с ней. Умная и ловкая, умевшая правиться сластолюбивому старику и угождать ему, никогда не возбуждая его ревнивых подозрений, Настасья хорошо сознавала силу своей власти и была, кажется, первой и последней женщиной, которая могла сказать, что держит грозного адмирала в руках.

Обыкновенно расчетливый даже и в любовных своих похождениях, не любивший зря бросать деньги, он на закате своей жизни стал проявлять щедрость и, задабривая «Настеньку» (так адмирал называл свою экономку), часто одаривал ее деньгами, вещами и платьями, требуя, чтобы она всегда одета была хорошо и к лицу. Однажды даже старик намекнул, что за верную службу и преданность он осчастливит Настеньку после своей смерти.

— Я и так осыпана вашими милостями, благодетель-барин! — воскликнула молодая женщина. —

Живите себе на здоровье... Вы еще совсем молодец! — прибавила Настя, зная, что подобный комплимент был приятнее всего старику.

— Да, осчастливорю... Все, что у меня есть, тебе оставлю...

Настасья, уже скопившая кое-что, никак не рассчитывала на подобное благополучие и не смела верить такому счастью. Она знала, что бережливый старик далеко не проживал в последние годы всего получаемого содержания, и что у него образовался изрядный капитал, который обеспечил бы ее на всю жизнь... Неужели старик не шутит и оставит ей все?

Она бросилась целовать адмиралу руки и с хорошо разыгранной искренностью ответила:

— Что вы, голубчик-барин? Зачем мне, вашей слуге? У вас есть дети наследники.

— Дети!? — воскликнул адмирал, хмурия брови. — А черт с ними! Они фыркают... я знаю... Недовольны, что я тебя приблизил... Говорят: «старик из ума вышел»... Ну и я ими недоволен... Что следует, отдал им, а больше ни гроша!..

В виду такой перспективы, тем с большим терпением несла молодая женщина иго старческой привязанности и с большим старанием угождала старику и исполняла все его похотливые капризы, тщательно скрывая свое отвращение. Адмирал верил ее преданности и не замечал, что ловкая и хитрая фаворитка, несмотря на уверения в верности, его обманывает и разделяет свои ласки между старым адмиралом и его кучером Иваном, красивым, совсем молодым парнем, смутившим холодную натуру дебелой Настасьи. Нечего и говорить, что она умела хранить эту связь в строгой тайне, ожидая смерти адмирала, чтобы выйти замуж за Ивана и пожить наконец для себя, а не для прихоти «старого греховодника».

Адмиралу уже стукнуло восемьдесят девять лет. Сильно постарел он-таки за последнее время! Он побелел как лунь и больше сгорбился. Его лицо, по-прежнему суровое, с старческим румянцем на щеках, было изрыто морщинами и высохло, имея вид мумии. Стальные глаза потеряли свой острый блеск и вы-

цвели, но зубы его все были целы, голос звучал сильно, память была отличная, никаких педугов он не знал, только иногда чувствовал слабость и позыв к дремоте и по временам, в минуты гнева, напоминал бывшего, полного мощи, грозного адмирала. В такие минуты и сама Настасья испытывала невольный трепет и вспоминала старые рассказы дворни ветлугинского дома о расправе с Макридой, уличенной в неверности.

В его маленьком домике, почти за городом, по-прежнему царил образцовый порядок и все сияло безукоризненной чистотой, напоминавшей чистоту военных кораблей. Нигде ни пылинки! Нигде стула не на месте! Медные ручки и замки у дверей блестели, и полы (особенная слабость адмирала) были так же великолепны, как и корабельная палуба. В салу господствовал такой же порядок, как во всем доме; и там, в маленькой пристройке, хранились под замком гроб и памятник, приобретенные адмиралом для себя несколько лет тому назад, когда ему пошел восьмидесят пятый год. Гроб был дубовый, без обивки и без всяких украшений, прочно сделанный, по заказу адмирала, кромка на кромку и принятый им от гробовщика после нескольких исправлений и тщательного и всестороннего осмотра.

— Ты что же, каналья, гвоздей мало положил? — сердито говорил адмирал гробовщику, когда тот принес в первый раз свою работу. — И гвозди железные, а не медные, как я приказывал!.. Переделать! Да ручки чтобы покрепче, а то гляди, подлец!..

И с этими словами адмирал рванул ручку и поднес ее к самому носу ошалевшего мастера.

Памятник из темносерого мрамора представлял собою небольшой обелиск с якорем, обвитым канатом, и другими морскими атрибутами внизу, утвержденный на гранитной глыбе. Сделан он был по рисунку, сочиненному адмиралом и, надо сознаться, не обличавшему большой художественности в авторе. При заказе памятника адмирал сильно торговался и заставил-таки монументщика сбавить цену на целых пятьдесят рублей.

— Куда прикажете ставить памятник? — полюбопытствовал мастер и осведомился насчет надписи.

— Прислать ко мне... Надпись после дам! — резко ответил адмирал, не входя в объяснения.

На памятнике была вырезана золотыми буквами следующая надпись, составленная адмиралом после многих переделок:

Адмирал

Алексей Петрович Ветлугин.

Родился 10-го Января 1786 года.

В офицерских чинах был 30 лет.

В адмиральских чинах был...

Совершил кругосветный вояж и сделал

50 морских компаний,

Скончался.. 18...

Всего жития...

Поставлен пожеланием адмирала.

Предусмотрительный адмирал велел вырезать голько две первые цифры года смерти, на случай, если умрет не в семидесятых, а в восьмидесятых годах, и в духовном завещании поручал душеприказчику дополнить недостающие на памятнике цифры. Гроб и памятник содержались в полном порядке, и адмирал лично за этим наблюдал.

XXI

Старик сохранил все свои прежние привычки. Как и прежде, он неизменно вставал в шесть часов, брал холодную ванну, пил кофе с горячими «тостами» и холодной ветчиной, и одетый к восьми часам в сюртук (а по праздникам в сюртук с эполетами), с орденом св. Александра Невского на шее и с Георгием в петлице, отправлялся, несмотря ни на какую погоду, на свою обычную прогулку, продолжавшуюся час или два и развлекавшую старика. Эти прогулки давали ему новые впечатления и кое-какое подобие деятельности, им же самим созданной от скуки безделья в качестве добровольного наблюдателя за порядком и чистотой в городе. Губернатор шутя назы-

вал адмирала лучшим своим помощником, которого полиция боится более, чем его самого.

Но уж теперь адмирал не носился, как прежде, своей быстрой и легкой походкой, не зная усталости, — годы брали свое, — а шел тихим шагом и уже с большой черной палкой в руке, направляясь в базарные дни непременно к базару.

Все в городе знали высокую сторбленную фигуру старого адмирала, строго и внимательно посматривающего по сторонам. Обыватели при встрече почтительно ему кланялись, дворники снимали шапки, а городовые вытягивались в струнку, провожая беспокойным взглядом грозного адмирала. В ответ адмирал кивал головой или прикладывал левую руку к козырьку фуражки. Заметив хорошенькую даму, адмирал, по старой привычке, приосанивался, выпячивал грудь и довольно кричал, прибавляя почему-то шагу. По пути он нередко останавливался около домов, где была грязь или не подметен тротуар, и грозил дворнику палкой, кидая ему своим резким сердитым тоном:

— Грязь... мерзость... Чтобы не было!

И шел далее.

Доставалось от него и городовым, и квартальным, и торговцам, у которых замечал недоброкачественные продукты. В особенности он донимал полицию.

Заметив беспорядки на улице, он энергично грозил палкой, а при какой-нибудь обиде, чинимой городовым обывателю, адмирал непременно вмешивался в разбирательство и грозно кричал:

— Небось, гривенника не дали?.. Мерзавец!.. Губернатору скажу!

И полицейские боялись, как огня, адмирала, всюду сующего свой нос. Еще недавно, благодаря Ветлугину, один частный пристав, отчаянный мздоимец, не только слетел с места, но был отдан губернатором за разные беззакония под суд. В качестве свидетеля, и самого беспощадного, на суде фигурировал сам адмирал. Во время следствия адмирал не соблаговолил пожаловать к следователю, а попросил его к себе на квартиру, но в суд явился в полной парад-

ной форме, в звездах и орденах. Несмотря на любезное предложение председателя давать показания в кресле, нарочно принесенном для престарелого адмирала, адмирал отвечал на вопросы суда и сторон стоя и хотя чувствовал утомление, но превозмогал его, чтобы не показаться перед публикой, среди которой было много дам, немощным стариком. Он в первый раз был в новом суде, который до того сильно бранил, и внимательно дослушал все дело. После этого посещения адмирал, кажется, до некоторой степени примирился с новыми судами, хотя и находил, что прокурор и адвокат болтают много лишних пустяков, и что взяточника-пристава наказали очень легко, сославши на три года в Архангельскую губернию.

— Ему бы, негодяю, арестантскую куртку следовало надеть для примера прочим! — говорил с сердцем адмирал. — Это был бы суд!..

— Законов таких нет, ваше высокопревосходительство! — деликатно возражал ему губернатор, вскоре после суда посстивший старика.

— То-то и скверно, что нынче таких законов нет, ваше превосходительство! А при покойном государе Николае Павловиче, значит, были. Я помню, как одного генерала, — был он комендантом, — заслуженно, потерявшего ногу на Кавказе, Николай Павлович разжаловал в солдаты за то, что тот обкрадывал арестантов. — Так и умер солдатом. И поделом!

Губернатор, необыкновенно вежливый статский генерал, старавшийся быть всем приятным, снисходительно соглашался, чтобы не спорить со стариком, и терпеливо просиживал полчаса, выслушивая воркотню адмирала насчет общей распущенности, неуважения к властям и разных других зол, происходящих оттого, что «нынче никто не боится начальства».

Когда адмирал появлялся на базаре, торговли обыкновенно пересмеивались и тихонько говорили: «Старый чорт идет!» Многие торговцы, завидя адмирала, прятали или прикрывали гнилой товар, зная, что он подымет историю. Городовые откуда-то появлялись на свет божий.

А старик медленно проходил в толпе по рядам, среди поклонов и приветствий базарного люда. Всякий там знал его. Адмирал, справляясь о ценах, смотрел мясо, дичь и рыбу, хотя ничего не покупал, спрашивал, откуда дичь и рыба, много ли в привозе, каков лов и т. п., пробовал черный хлеб и, если находил что-либо гнилым или несвежим, сердито замечал:

— Гнильем торгуешь, а? Понюхай-ка!

И, взявши гнилую рыбу, подносил ее к лицу торговца.

Обыкновенно тот клялся и божился, что рыба только что дала дух от жары, и откидывал ее в сторону, чтобы снова положить на место, когда старик уйдет.

Проходя мимо торговых, торгующих яйцами, молоком, бубликами и зеленью, адмирал нередко останавливался у смазливых баб и иногда вступал в разговоры.

— Как торгуешь, бабенка? Авдотья, кажется? — спрашивал адмирал, трепля ее по щеке рукой.

— Авдотья и есть, барин. А торгую, барин, плохо.

— Плохо? Зачем же плохо? Такой красавице стыдно торговать плохо. На вот тебе, молодка, на разживу.

С этими словами он давал ей новенький серебряный гривенник. Запас новой мелочи всегда был у него в кошельке.

Торговка благодарила и прибавляла:

— Черешенок купил бы, барин... Черешенки славыс.

— Вижу. Повар уж взял.

— Он не у меня, барин, брал, а у Маланьи.

— Завтра у тебя возьмет.

И, ущипнув за подбородок молодую бабу, старик весело кричал и проходил далее, брезгливо обходя старых и непригожих торговых.

Побродив с полчаса по базару и непременно распушив кого-нибудь, адмирал возвращался домой, завернув по дороге иногда в лавку, чтобы купить лакомство или какую-нибудь обновку, и дарил Настасье.

Стараясь убить время до обеда, он придумывал себе разные занятия: сперва записывал в календаре происшествия утра со всеми мелочными подробностями.

ми, затем выдвигал ящики письменного стола и перебирал лежавшие там вещи и бумаги, осматривал платье в шкапу, заглядывал на минуту в комнату своей скучающей, заплывшей от жиру фаворитки, бродил по комнатам и глядел, все ли в порядке и на месте. Заметив, что кресло в гостиной стоит несимметрично, он его выравнял. Во время таких осмотров обыкновенно доставалось лакею. Когда приносили газеты — все те же «Times» и «С.-Петербургские Ведомости», — он надевал большие, в черепаховой оправе, очки, без которых уже не мог читать. принимался за чтение и нередко за чтением незаметно поклевывал носом в своем кожаном кресле.

Во время франко-прусской войны адмирал с большим интересом следил за событиями и особенно негодовал на бездействие французского флота.

— Вот и хваленые броненосцы! Никуда показаться не могут... Срам! — нередко ворчал старый моряк.

И, случалось, бросал газету и ходил по кабинету, мечтая о том, как бы он разнес немцев с прежней своей щегольской эскадрой.

За морским делом он следил, продолжая им интересоваться, и часто бранил наш броненосный флот и новое поколение моряков. Прочитав в газете, что бронепосец стал при выходе из Кронштадта на мель или столкнулся с другим судном, адмирал с злорадством повторял:

— Хороши моряки! Нечего сказать, управляют! Мы с одними парусами ходили и не стучались друг с другом, не шупали дна, а ныне и с машинами ходить не умеют!.. Мо-ря-ки! Позор!

Если не было гостя, приглашенного к обеду, Настасья обедала с адмиралом. Гости, впрочем, бывали очень редко. Раз или два в месяц адмирал приглашал обедать одного или двух постоянных своих партнеров: отставного старичка-генерала и капитана первого ранга в отставке, Федора Ивановича Конотопца, который еще мичманом служил в эскадре Ветлугина. С этим моряком адмирал обращался, точно тот все еще был мичман, и третиловал как мальчишку, хотя этому «мальчишке» уже было около шестиде-

сяти лет. И моряк не обижался и смотрел на адмирала, как на начальника. Особенно доставалось ему за картами.

— Срам-с, Федор Иванович!.. Были прежде бравым офицером, а играете, как сапожник.

— Я, ваше высокопревосходительство, полагал...

— А вы не полагайте-с... Он полагал... и дернул в чужую масть?.. А еще моряк... Стыдно-с! — сердито прибавлял адмирал.

— Виноват, ваше высокопревосходительство! — робко замечал добродушный Федор Иванович, трусивший, по старой памяти, грозного адмирала.

Этот же Федор Иванович, гулявший иногда по утрам с адмиралом, был неизменным и покорным слушателем его воркотни и его политических соображений и добродушно принимал на себя громы обвинений на молодых моряков, на которых, в лице старого Федора Ивановича, давно уже покинувшего службу, нападал старик, все еще видевший в своем покорном слушателе молодого человека.

— Чорт знает, что у вас теперь делается! Ай да молодые моряки! Чай, и забыли, как поворот оверштаг делать?

Федор Иванович, действительно забывший прежнее свое ремесло, добросовестно замечал:

— Это верно, ваше высокопревосходительство, забыл.

— То-то и есть... Ни к черту вы не годитесь!

Кроме двух названных партнеров да еще третьего, начальника местной дивизии, адмирал ни с кем не водил знакомств, ограничиваясь лишь обменом визитами с губернатором да комендантом. Архиерея адмирал почему-то недолюбливал и бывал в соборе лишь в царские дни. В свою очередь и преосвященный, человек очень строгой жизни, не благоволил к моряку и называл его «старым вольтерьянцем, погрязшим в блуде». И они никогда друг друга не замечали при случайных встречах.

Когда по вечерам не было партии, старик пил чай в комнате у своей экономки и коротал с нею вечер, слушая ее болтовню или заставляя ее петь песни. А

то играл с ней в дурачки по гривеннику партию, прощая всегда ей проигрыш. В десять часов Настасья укладывала адмирала спать, оставаясь подле него, пока он не засыпал.

В последнее время старик спал плохо, нередко просыпался в три часа, вставал, раскладывал пасьянс или ходил угрюмый и скучающий, не зная, что делать, по кабинету, ожидая, когда кукушка в столовой прокукует шесть раз, войдет слуга для обтирания, и в маленьком домике начнется обычная жизнь.

XXII

Со своими детьми адмирал почти прекратил всякие сношения. Никогда особенно их не любивший, он под старость окончательно озлобился против своих близких и, казалось, забыл об их существовании. Даже к Анне, его прежней любимице, он охладел и, посылая ей ежемесячно деньги, не писал ни строчки. Анна лишь благодарила и уведомляла о получении. Сперва сыновья и дочери изредка еще писали отцу, но он не отвечал на письма, и переписка сама собою прекратилась. Никого из детей он не желал видеть, и никто его не навещал.

Одна только Анна, года через два после отъезда адмирала из Петербурга, просила разрешения приехать к нему погостить. Старик, после совещания с Настасьей, позволил и ко времени приезда дочери удалил экономку и запер ее роскошно убранную комнату на ключ.

Недолго прогостила Анна у отца. Присутствие дочери, видимо, раздражало адмирала, принужденного стесняться из-за нее и не видеть около себя любимой экономки. Анна, конечно, поняла, в чем дело. Эта запертая комната и разряженная, раздобревшая Настасья, которую Анна встретила как-то на улице, красноречиво свидетельствовали о роли экономки в доме. К тому же и все в маленьком городке громко говорили о скандальной связи старого адмирала и смеялись над ней, и эти слухи дошли до Анны, глупо оскорбленной за память матери.

И она поспешила уехать.

Старик был, видимо, обрадован отъездом дочери и, прощаясь с нею, не выражал желаний когда-нибудь увидиться, а сухо проговорил:

— Будь здорова... Верно, уж не увидимся... Обо мне не заботьтесь... У меня есть преданный человек... А если вы там фыркаете... недовольны... то и фыркайте... Я поступаю, как хочу...

И, вдруг закипая гневом, прибавил:

— Твоя старшая сестрица Ольга Алексеевна осмелилась написать письмо... Советы дает, как жить, а!? Я ответил, что она дерзкая дура и чтобы никогда больше не смела писать... Дети!? Хороши дети! Никого не хочу! — неожиданно крикнул старик. — Так и скажи всем... Слышишь?..

— Слушаю, папенька! — грустно проронила обиженная Анна.

Вскоре после ее отъезда адмирал получил известие, что первенец его, Василий, утонул на кронштадтском рейде, ехавши на берег на шлюпке под парусами в очень свежую погоду. Адмирал принял эту весть со старческим эгоизмом и не особенно печалился. Ему только было жаль, что достойный представитель Ветлугиных погиб для флота. Адмирал возлагал теперь надежды на младшего сына Сергея. Он поддержит честь имени Ветлугиных во флоте, и таким образом моряки Ветлугины не исчезнут.

Но надеждам старого моряка не суждено было сбыться. Молодой мичман, только-что вернувшийся из кругосветного плавания, в котором пробыл пять лет вместо трех, извещал отца о своем намерении выйти в отставку и просил его разрешения, без которого высшее морское начальство не соглашалось уволить молодого офицера.

Это письмо привело в ярость грозного адмирала. Тон его был почтительный, но твердый, и старик теперь невольно припомнил, как несколько лет тому назад он был побежден «щенком». И это воспоминание еще более сердило его.

«В отставку... мерзавец!» — несколько раз злобно

повторил старик и в бессильном гневе разорвал письмо на мелкие кусочки и плюнул на них.

Разумеется, он не отвечал на послание Сережи.

Прошли недели две, и от него снова было получено письмо, но на этот раз уже более настоятельное. «Если вы, папенька, не дадите разрешения, я устрою, что меня исключат. Хотите вы, чтобы офицера, носящего имя Ветлугина, выгнали из флота?» — писал, между прочим, Сережа, действуя на гордость и самолюбие старика.

Адмирал, знавший, что этот «упрямый негодяй» исполнит угрозу, принужден был, с яростью в сердце, согласиться. Он написал об этом министру, а сыну отправил письмо, адресуя его без имени и отчества, просто: «Мичману Ветлугину», следующего содержания:

«Позора не желаю и против ветра плыть не могу. Чорт с тобой, негодяй! Выходи в отставку и забудь отныне, что ты мой сын. Скотина!

Адмирал Ветлугин».

С тех пор он особенно не взлюбил строптивого Сережу, олицетворявшего, в глазах старика, ненавистный ему «дух времени».

Таким образом обрывались отношения между адмиралом и его детьми.

Один лишь Гриша неизменно и аккуратно писал отцу, поздравляя его с каждым большим праздником и с днями рождения и именин. И несмотря на то, что не получил от адмирала ни одного ответа, Гриша все-таки продолжал посылать ему почтительно-покорные письма, не забывая сообщать в них о своих быстрых служебных успехах. В этом году он собрался жениться и неожиданно приехал в город N, чтобы получить папенькино благословение. Остановился Гриша не у отца, а в гостинице, тотчас же собрал справки и узнал, что есть духовное завещание в пользу Настасьи, и что у отца в банке около пятидесяти тысяч. Гриша нахмурился, выругал про себя папеньку и, облачившись в мундир, отправился в маленький домик адмирала.

Старик дремал с газетой в руках у себя в кабинете, когда к крыльцу подкатил в извозчикьем фаэто-не красивый молодой полковник с аксельбантами. Лакей, никогда не выдавший молодого Ветлугина, доложил, что адмирал почивает у себя в кабинете.

— Ничего, ничего, братец... я подожду... Скажи-ка Настасье Ивановне, что Григорий Алексеевич приехал. А то, еще лучше, я сам пойду к папенькиной экономке... Где она?

И с этими словами Гриша прошел в ее комнату, указанную слугой.

— Здравствуйте, Настя... Не узнали? — ласково и необыкновенно приветливо заговорил он, протягивая руку молодой экономке.

Та в первую минуту, при виде молодого барина, испугалась и была смущена.

— Не узнали, постарел, видно? — продолжал Гриша и, взявши за руку Настю, притянул ее к себе и троекратно с ней поцеловался. — Какая же вы стали хорошенькая! — прибавил он, оглядывая молодую женщину своими большими голубыми глазами.

— Что вы, барин! — промолвила Настя, краснея от удовольствия. — Да что ж вы сюда... Пожалуйте в гостиную...

— Я у вас посижу, пока папенька спит... У вас тут славно...

Гриша присел, усадив все еще смущенную Настасью, и в несколько минут очаровал ее своим обращением. Она думала, что он и говорить-то с ней не станет, а между тем этот красивый полковник говорил с ней, как с ровней. Он расспрашивал об отце, поблагодарил, что она бережет старика, и сообщил ей, что собирается жениться и заехал на день, на два, чтобы попросить папенькиного благословения.

Настасья вызвалась сейчас же доложить адмиралу о приезде Григория Алексеича. Барин не спит... так дремлет.

Они вышли вместе. Гриша снова повторил, что На-

стя похорошен и, весело разговаривая, они вошли в столовую.

Адмирал между тем перестал дремать и, услышав голоса, показавшись на пороге кабинета. Увидав Гришу вместе с экономкой, он удивленно и без особенной радости взглянул на сына и строго спросил:

— Ты как сюда попал без моего разрешения?

Гриша поспешил, чтобы поцеловать руку отца, которую тот поспешно отдернул, и стал извиняться; что приехал, не предупредивши. Он был поблизости в деревне у родителей девушки, на которой он хотел бы жениться, и приехал просить благословения отца. Не желая беспокоить папеньку, он остановился в гостинице, тем более, что может пробыть только день или два.

— Не угодно ли вам, барин, покушать чего-нибудь с дороги или кофею? — спросила Настя.

— Спасибо вам, милая Настенька. Ничего не хочу! — отвечал с приветливой улыбкой Гриша.

Обращение сына с экономкой, видимо, понравилось старику, и он уже с меньшей суровостью проговорил:

— Будешь обедать у меня... Не взыщи, чем бог послал!

И позвал его в кабинет со словами:

— Ну, расскажи, на ком ты женишься... Вижу: по службе хорошо идешь!

Гриша обстоятельно все рассказал; партия была приличная, и старик заметил:

— Что ж, женись... Очень рад!

В течение часа до обеда Гриша не переставал занимать старика. Он рассказал ему много новостей и между прочим, как бы невзначай, сообщил, что адмиралы Дубасов и Игнатьев недавно получили по пять тысяч десятин в Самарской губернии.

— Вот бы и вам, папенька, получить...

— Разве дают?

— Как же, всем заслуженным лицам дают.

Настя не обедала с Ветлугиными. Обед прошел по обыкновению быстро и в молчании. После обеда Гриша, простившись с отцом, попросил позволения зайти проститься с Настасьей...

Это опять таки было очень приятно старику.

На другой день Гриша уехал из N, получив от отца, вместо образа, полторы тысячи. Столь щедрым подарком Гриша был всецело обязан Настасье. При прощании он снова, как бы вскользь, напомнил о земле в Самарской губернии, рассчитывая, что после смерти отца пожалованное имение достанется сыновьям.

Но расчеты предусмотрительного Гриши не оправдались. Действительно, адмирал вскоре написал в министерство письмо, в котором просил министра ходатайствовать о пожаловании ему, по примеру прочих, земли, но только в N-ской губернии. Когда министр ему ответил, что казенные земли в N-ской губернии раздаче не подлежат, а что может быть пожалована лишь земля в Самарской или Уфимской губерниях, адмирал отвечал, что там земли не желает.

— Что, не удалась дипломатическая поездка, мой высокопоставленный братец? — подсмеивался потом Сережа, встретившись с братом на родственном обеде у одной из сестер. — Самарская-то земля тю-тю!

XXIV

Месяца через четыре после посещения Гриши адмирал, проснувшись однажды, почувствовал такую слабость, что не взял холодной ванны и не пошел на прогулку.

Так прошла неделя. Старик, видимо, слабел, терял аппетит и целые дни дремал. На предложения экономки послать за доктором он отвечал отказом.

Наконец уж он не мог вставать с постели. Тогда только он велел к вечеру послать за доктором.

Врач внимательно обследовал старика: слушал сердце, выстукивал грудь, осматривал опухшие ноги и, прописав лекарство, сказал, что зайдет на следующее утро.

— Что у меня? — спросил адмирал.

— Ничего особенного... Так, общая слабость...

— Говорите прямо. Я не боюсь смерти! — строго промолвил старик. — Опасен?

— Опасны, ваше высокопревосходительство!

Действительно, адмирал совсем осунулся. Черты

его землистого лица заострились, и печать смерти уже лежала на нем.

Адмирал сделал движение головой в знак благодарности.

Доктор вышел, приказал послать за лекарством и предупредил экономку, что адмирал очень плох.

Ночью старик поминутно просыпался. Не отходившая от него Настасья давала ему лекарство. Он принимал его неохотно и, когда экономка говорила, что это ему поможет, адмирал отрицательно шевелил головой и отвечал:

— Глупости!..

К утру адмирал совсем ослабел. Он с большим трудом мог повернуться на другой бок и сердился, когда Настасья хотела помочь ему.

— Не надо. Сам могу! Оставь!

В восемь часов утра, выпив горячего кофе, он велел попросить к себе Федора Ивановича, который был его душеприказчиком, и губернатора.

Когда явился Федор Иванович, адмирал произнес:

— Умирать, братец, пора...

— Что вы, ваше высокопревосходительство. Еще поживем-с!

— Вздор! — сердито ответил старик.

В это время вошел доктор. Он снова выслушал адмирала и хотел было выстукивать его высохшую желтую грудь, но старик, морщась, сказал:

— Не надо. Довольно.

Врач незаметно вызвал из спальни Федора Ивановича и сказал, что старику жить несколько часов, не более.

— Какая у него болезнь?

— Старость, — ответил доктор. — Сердце почти не работает.

Когда Федор Иванович вернулся, адмирал сказал ему:

— Доктору за два визита пять рублей!

Вскоре приехал губернатор.

— Что это, ваше высокопревосходительство, захворать вздумали? — веселым тоном начал было деликатный губернатор.

— Умирать-с вздумал, — резко перебил адмирал. — Прошу извинить, что беспокоил ваше превосходительство...

Он сделал знак экономке, чтобы вышла, и продолжал:

— Прошу, ваше превосходительство, переслать вот этот пакет после моей смерти морскому министру! — указал глазами адмирал на большой запечатанный пакет, лежавший на столике, около кровати. — В нем моя записка о флоте и собственноручное письмо ко мне Нельсона, когда я служил у него на эскадре. И насчет пенсии дочери, — прибавил он.

Губернатор взял пакет и молча поклонился.

— Все, что после меня останется: деньги, имущество, я завещаю экономке... Федор Иванович душеприказчик. Буду просить, ваше превосходительство, чтобы ее на первых порах не обидели, чтобы никого в дом не пускали... особенно сына Григория...

Губернатор обещал оказать свое содействие.

После минутного молчания, видимо, уставший старик снова заговорил довольно твердым голосом:

— Хоронить меня прошу со всеми почестями, подобающими полному адмиралу. Впереди должны нести мои флаги: контр-адмиральский, вице-адмиральский и адмиральский... Они все стоят в зале. Затем ордена... Федор Иванович знает порядок.

— Все будет исполнено, ваше высокопревосходительство...

— Гроб, могила и памятник давно готовы... На похороны деньги отложены... Федор Иванович! Посмотрите-ка в правом верхнем боковом ящике в письменном столе.

Федор Иванович вышел в кабинет и скоро вернулся с конвертом, на котором крупным стариковским почерком было написано: «На мои похороны».

— Тут шестьсот рублей... больше не тратить, Федор Иванович... Хоронит меня пусть приходский поп. Архиерея не нужно... Слышите, Федор Иванович?

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Ну, теперь все, кажется... Покорно благодарю.

ваше превосходительство, за внимание, — проговорил адмирал, протягивая из-под одеяла сморщенную побелевшую руку.

Губернатор дотронулся до холодеющей уже руки адмирала и, повторив обещание исполнить все его распоряжения, ушел, обещав завтра навестить его высокопревосходительство.

Старик закрыл глаза и, казалось, дремал.

Тогда в кабинет вошла Настасья, вся взволнованная, со слезами на глазах (она слышала весь разговор, стоя у дверей) и, приблизившись к постели, проговорила:

— Голубчик-барин, не хотите ли причаститься?.. Бог здоровья пошлет.

Адмирал ни слова не ответил.

Она повторила просьбу. Адмирал недовольно взглянул на свою фаворитку потускневшими глазами и снова опустил веки.

Через четверть часа он открыл глаза и слабым голосом произнес:

Сегодня на почту придут деньги, Федор Иванович... Жалованье и аренда за треть...

Точно так, ваше высокопревосходительство...

Нельзя ли оформить, чтобы и это Настеньке, а не детям?

Уж поздно, ваше высокопревосходительство.

Жаль... жаль... — коснеющим языком пролепетал старик. — Так пусть одной Анне... Ну, ступайте. Попробую, — прибавил он чуть слышно и закрыл глаза.

Федор Иванович и Настасья вышли за двери.

Когда через несколько времени они заглянули в спальню, грозный адмирал уже заснул навеки с спокойной суровым выражением на лице.

Кукушка в столовой прокуковала три раза.





ПАССАЖИРКА

I

Дня за два до ухода нашего из Сан-Франциско мичман Цветков, только что вернувшийся с берега, стремительно ворвался в кают-компанию и воскликнул своим бархатным тенорком:

— Какую я вам привез, господа, новость! Одно удивленье!

И чернокудрый пригожий молодой мичман, веселый, легкомысленный и жизнерадостный, ухитрявшийся влюбляться чуть ли ни в каждом порту, где клипер наш стоял более трех суток, — окинул живым, смеющимся взглядом своих красивых черных глаз несколько человек офицеров, благодушествовавших после обеда за чаем.

— Ну, какая там у вас новость? — недоверчиво

и лениво крикнул с дивана старший офицер Степан Дмитриевич и, потянувшись, зевнул, собираясь, по обыкновению, соснуть часок после обеда.

— Уж не садится ли к нам адмирал? — испуганно спросил кто-то.

— Нет, нет... Новость самая приятная! — рассмеялся мичман, открывая ряд ослепительно белых зубов. — Только моя новость не для вас, Евграф Иванович, и не для вас, Антон Васильевич, — обратился он, лукаво улыбаясь, к пожилому артиллеристу и к доктору.

— Это почему?

— Вы — в законе. И не для вас, батя... Вы — монах! И не для тебя, «милорд». Ты — влюбленный жених. Тебя ждет не дождется в Кронштадте твоя невеста.

— Да не балагань, говори, в чем дело! И без того довольно похож на Бобчинского! — проговорил медленно, сквозь зубы, товарищ и приятель Цветкова, мичман Бобров, прозванный «милордом».

Рыжий, с выбритыми нарочно губами и маленькими, не доходившими до конца щек бачками, сухощавый и прилизанный, сдержанный и серьезный, он действительно смахивал на англичанина и корчил англomана, стараясь усилить это внешнее сходство и соответствующими, по его мнению, английскими привычками: напускал на себя невозмутимость, выпучивал бессмысленно глаза, цедил слова, носил фланелевые рубашки, пил портер и ничему не удивлялся.

— То-то: говори! А небось, не угостишь бедного мичмана русской папироской... Эти «манилки»... Черт бы их побрал!.. Ну, не раздумывай же, благородный лорд... Давай!

«Благородный лорд», запасливый, бережливый и вообще очень аккуратный молодой человек, не только не делавший долгов, но кое-что сохранявший от своего небольшого жалованья, — несмотря на второй год плавания, курил еще папиросы, взятые из России. Он крайне неохотно угощал ими и не без некоторого внутреннего колебания достал папиросницу, но предусмотрительно не подал ее Цветкову, а, вынув одну

папироску, протянул ее веселому мичману, давно прокурившему и проугощавшему свой запас.

Тот, после первой жадной затяжки, значительно и торжественно проговорил, прищуривая смеющиеся глаза:

— У нас на клипере будет пассажирка! Пойдет с нами до Гонконга... Не ожидали, господа, такой новости, а?..

И жизнерадостный мичман оглядел всех победоносным взглядом.

Новость эта, видимо, произвела впечатление на моряков.

— Пассажирка!? — раздались восклицания.

— И даже две: молодая барынька и ее горничная, тоже молодая...

— Не плод ли это твоей фантазии, сэр? — усмехнулся «милорд».

— Фантазии!? Прикуси свой язык, «милорд», и кстати уж проглоти аршин, чтоб окончательно походить на англичанина.

— А собой как барыня? — спросил кто-то из молодежи.

— Чудо что такое!.. Ослепительная блондинка с золотистыми волосами. Бела, как снег... Улыбка чарующая... Взгляд ангела... Умница... Одета с изящной простотой... Стройна и сложена божественно... Бюст роскошный... Ручки — восторг: маленькие, с ямочками... Пожки...

— А горничная какова? — неожиданно перебил мичмана, восторженно перечислявшего все прелести пассажирки, долговязый, вихрастый юнец-гардемарин с крупными сочными губами.

— На кой вам чорт знать о горничной!? — негодуяще воскликнул мичман. — Я рассказываю о ней, об этой дивной женщине, а вы — горничная! Это — профанация! У вас, видно, горничная только на уме... Тьфу!.. А впрочем, и горничная ничего себе! — вдруг, смеясь, прибавил мичман. — Ухаживайте за ней на здоровье!

— А ты уж видно того... втюрился в пассажирку? — насмешливо промолвил «милорд».

— И ты втюришься, как ее увидишь, даром что жених.

«Милорд» презрительно усмехнулся и процедил:

— Я не такой влюбчивый воробей, как ты...

— Какая такая пассажирка, Владимир Алексеич? Откуда она вдруг объявилась и где это вы все узнали? — спросил, в свою очередь, и старший офицер, Степан Дмитриевич, умышленно равнодушным тоном, слушавший, однако, с живейшим любопытством описание прелестной пассажирки и втайне переживавший радостное волнение завязатого женолюбца.

И Степан Дмитриевич, далеко неказистый из себя мужчина лет около сорока, белобрысый, коренастый, начинавший сильно лысеть, с красным от загара, угреватым непривлекательным лицом, среди которого, словно руль, торчал длинный, неуклюжий нос с шишкой на кончике, невольно оживился, забыв сон, пригладил с достоинством потную лысину и с самым до жуанским видом стал крутить концы своих темно-рыжих усов. В то же время его маленькие, с воспаленными веками, глазки еще более сузились и подернулись, как выражались мичманы, «прованским маслом», и сам он молодецкато выпятил грудь колесом, представляя некоторое подобие бочонка.

Дело в том, что Степан Дмитриевич, отличный служака, добрый и вообще скромный человек, имел одну непростительную слабость — считать себя весьма и весьма соблазнительным мужчиной и думать, что нравится дамам.

— Я сейчас видел пассажирку у консула, она приезжала к нему с горличной выправить бумаг... Меня представили ей, и мы с ней говорили... И капитан в это время был у консула. Ну, и скажу я вам, господа, наш-то капитан...

— А что?..

— Потеха! Даром, что и с брюшком, и почтенный отец семейства, а так и рассыпался, так и лебезил... Совсем не такой свирепый, каким бывает во время авралов... Губы распустил, «ля-ля-ля», ходит вокруг, словно кот около сливок... Консульша даже смеялась... И когда консул просил взять этих дам пассажирками

крупная история. Лейтенант Бакланов, довольно видный блондин, кронштадтский сердцеед, сделал насчет будущей пассажирки очень нескромное замечание. Мичман вспыхнул, губы его затряслись, и он назвал Бакланова нахалом, не понимающим, как надо говорить о порядочной женщине. Дело дошло бы до крупной ссоры, если б не вмешался «дедушка» и, со свойственным ему умением миротворца, не уговорил двух распетушившихся молодых людей извиниться друг перед другом.

— Перессорятся у нас все из-за этой пассажирки! — пророчески, тоном выдавшего виды философа говорил несколько минут спустя «дедушка» Иван Иванович, преклонные годы которого оставляли его, повидимому, совершенно равнодушным к прелестям женской красоты. — Еще ее нет, а уже ссора! А что же будет, когда все закружат около пассажирки, словно тетерева на току? На «берегу», где много бабья, и то из-за них одни неприятности, а в море, когда одна хорошенькая дамочка среди этих, с позволения сказать, петухов... благодарю покорно! Тут и служба не пойдет на ум... Нет-с, не резон брать пассажирок, да еще на длинный переход. Не одобряю-с! Недаром же, по регламенту Петра Великого, женщин нельзя брать в плавань. Царь-то великого ума был... Понимал хорошо, в чем загвоздка.

Толстенький, кругленький, чистенький и свежий, как огурчик, судовой врач Антон Васильевич, перед которым философствовал старый штурман, весело закатился мелким визгливым смехом, умильно жмуря глаза, и неопределенно протянул, стараясь принять степенный вид:

— Дда... женщина, особенно хорошенькая...

— То-то оно и есть! Каждому лестно...

— Именно лестно... Хе-хе-хе!

— И посойдут они все с ума, ошалеют, как коты по весне, вспомните мое слово, Антон Васильич... Этот Цветков уже втюрился... «И такая, и сякая, писаная, немазаная»... Чего только не насказал!.. Известно, с влюбленных голодных глаз, да в двадцать три-то года, всякая смазливая дамочка — красавица... И Степан

Дмитрич... даром, что лыс, а уж хвост распустил и усы стал закручивать, и капитан тоже... Вот и будет, можно сказать, у нас кавардак из-за этой самой пассажирки! — ворчливо прибавил Иван Иванович.

Иван Иванович, вообще словоохотливый вне службы, повидимому, не прочь был еще пофилософствовать на эту тему. Но, взглянув на доктора и увидав в его лице и глазах игриво-веселое выражение, далеко не обнаруживавшее сочувствия к его словам, он укоризненно покачал головой, молча покурил «манилку» и вышел из кают-компания.

«Да и ты, брат, такой же саврас, как и другие!» — говорило, казалось, добродушное старое лицо штурмана.

II

Вечером с берега приехал капитан и тотчас же потребовал к себе в каюту старшего офицера.

Капитан был толстяк лет пятидесяти, почти седой, с крупными чертами загорелого полного лица, с крепко посаженной круглой головой на короткой шее и большими темными глазами, метавшими молнии во время гнева и добродушными в минуты спокойствия. Короткие седые усы прикрывали толстые губы, с которых нередко слетали энергические ругательства во время авралов и учений.

Напустив на себя недовольный вид и хмурия заседевшие брови, капитан проговорил резким, отрывистым голосом:

Завтра придут две пассажирки: вдова инженера Вера Сергеевна Кларк и ее горничная... Неприятно, конечно, возиться на судне с бабьем, но что делать? Нельзя было отказать. Консул очень просил и вообще... вообще дама, заслуживающая уважения и изкровительства. Я отдаю ей свою каюту. Сам помещусь в рубке... Приходится из-за этой пассажирки стесняться, — все с тем же недовольным видом говорил капитан. — А вас, Степан Дмитрич, попрошу распорядиться, чтобы хоть на это время и господа офицеры, и боцманы, и матросы воздержались... не ругались бы во

всю ивановскую... Нельзя же... Понимаете, дама-с, генеральская дочь... Неприлично-с!

— Слушаю-с! Я скажу офицерам и отдам приказание боцманам, Петр Никитич!

— Особенно этот боцман Матвеев... Не может, каналья, рта открыть без ругани. Так уж вы велите ему заткнуть свою глотку, а то срам-с. Дама, и не какая-нибудь там, знаете ли, старая карга, а молодая женщина, образованная, деликатного воспитания, ну, одним словом, вполне дама-с. И жила, понимаете, долго в Америке, и, следовательно, отвыкла в некотором роде от России. Здесь ведь так не ругаются! — пояснил капитан и снова повторил: — Да-с, приходится в рубке... не особенно приятно... Да и вообще не люблю я дам на военном судне... Стеснительно... Ну, да нельзя было отказать! — как бы оправдывался капитан.

«Однако ловко же ты напускаешь туману!» — подумал старший офицер, вспомнив рассказ мичмана о том, как лебезил капитан перед хорошенькой пассажиркой, — и проговорил:

— Это точно, Петр Никитич, дама более береговое создание...

— Да вот еще что, Степан Дмитрич, — заговорил капитан: — вы, пожалуйста, скажите мичманам и гардемаринам, чтобы они, знаете ли, того... не гонялись за горничной, как кобели, с позволения сказать... Чего доброго, заведут там еще интригу... Она пожалуется... Скандал... Военное судно... Надо помнить-с! — строго прибавил капитан.

— Слушаю-с!

Капитан помолчал.

— Больше не будет никаких приказаний, Петр Никитич? — спросил офицер.

— Кажется, более ничего... Снимаемся послезавтра с рассветом.

Степан Дмитриевич хотел было уходить, как капитан, внезапно меняя тон и сбрасывая с себя строгий начальнический вид, проговорил с тем обычным добродушием, с каким говорил не по службе:

— А знаете ли, Степан Дмитрич... Ведь наша пас-

сажирка... того... прехорошенькая, можно сказать, дама-с!

И при этих словах лицо капитана расплылось в широкую улыбку, и большие, на выкате, глаза его приняли несколько игривое выражение.

— Цветков рассказывал, Петр Никитич! Говорит: красавица, — отвечал, тоже улыбаясь, Степан Дмитриевич, и стал крутить усы.

— Цветков? Да, ведь он был у консула в то время, когда там была пассажирка, и успел-таки с ней познакомиться. Верно, уж и наговорил ей своих мичманских любезностей... Этот пострел везде поспел! — с оттенком неудовольствия в голосе прибавил капитан.

— Он, кажется, уж по уши влюблен в пассажирку. Вернулся с берега совсем ошалелый! — смеясь, заметил Степан Дмитриевич.

— Ну и... и дурак! — неожиданно, с раздражением выпалил капитан.

Старший офицер удивленно взглянул на капитана, недоумевая, с чего это его прорвало.

А капитан через несколько мгновений, словно устыдясь своего внезапного, почти инстинктивного раздражения старого, некрасивого мужчины против молодого, красивого и ловкого, имеющего все шансы нравиться женщинам, и, желая скрыть перед старшим офицером истинную причину своего гневного восклицания, проговорил:

— Ведь славный этот Цветков и офицер бравый, но какой-то сумасшедший. Как увлечется, тогда ему хоть трава не расти. Помните, как он чуть было не остался в Англии из-за какой-то англичанки? Три дня мы его по Лондону искали. Ведь пропал бы человек!

— Влюбчив, что и говорить, — вставил Степан Дмитриевич, — и не понимает еще хорошо женщин, — не без апломба прибавил старший офицер, приосаниваясь.

— То-то и есть. А эта пассажирка, молодая вдовушка, может легко вскружить голову такому молодому сумасброду... Да-с! Она, как я слышал, — продолжал капитан, хоть и ничего не слышал, — она,

знаете ли, хоть с виду в некотором роде нимфа-с, а опасная кокетка... В глазах у нее есть что-то такое... Как в океане... Штиль, а как заревет... бери все рифы-с... ха-ха-ха!.. Я, как человек поживший, сразу заметил... Штучка! Так вокруг пальца и обведет!

И капитан повертел перед своим широким крупным носом толстый и короткий указательный палец, на котором блеснул брильянтовый перстень.

— Ну и жаль будет молодого человека, если он врежется, как дурак, и наделает глупостей... Пассажирка, в самом деле, канальски хороша... Надеюсь, Степан Дмитрич, этот разговор между нами! — вдруг прибавил несколько смущенно капитан.

— Будьте покойны, Петр Никитич.

Когда старший офицер уже выходил из каюты, капитан еще раз повторил ему вдогонку, и на этот раз снова резким тоном командира.

— Так, пожалуйста, чтобы боцманы не ругались. Особенно Матвеев.

— Есть! — на ходу ответил старший офицер.

Он в тот же вечер позвал к себе в каюту обоих боцманов, Матвеева и Архипова, и, объяснив, что на клипере будут две пассажирки, строго приказал не ругаться и велел это приказание передать унтер-офицерам и команде.

Отдавая такое приказание, Степан Дмитриевич, и сам большой охотник до крепких словечек, сознавал в душе, что исполнить его боцманам будет очень трудно, пожалуй, даже невозможно. И, вероятно, именно вследствие такого сознания, он, пунктуальный исполнитель воли начальства, еще грознее и решительнее повторил, возвышая голос:

— Чтобы во время работы ни гу-гу! Слышите?

— Слушаем, ваше благородие! — отвечали оба боцмана и в ту же секунду, словно охваченные одною и той же мыслью, переглянулись между собою.

Этот быстрый обмен взглядов двух боцманов совершенно ясно выражал полнейшую невозможность исполнения такого странного приказания.

— Смотри же! — прикрикнул старший офицер. — Особенно ты, Матвеев, не давай воли своему языку.

Ты загибаешь такие слова... Чорт знает, откуда только берется у тебя всякая ругань. Чтобы ее не было!

Матвеев, пожилой, небольшого роста, крепкий и коренастый человек, с рыжими баками и усами, почтительно выпучив глаза, нерешительно переступал босыми жилистыми ногами и усиленно теребил пальцами фуражку.

— Буду оберегаться, ваше благородие, но только осмелюсь доложить...

И боцман еще сердитей затеребил фуражку.

— Что доложить?

— ...Осмелюсь доложить, что вовсе отстать никак невозможно, ваше благородие, как перед истинным богом докладываю. Дозвольте хучь тишком, чтобы до шканцев не долетало и не беспокоило пассажиров. Чтобы, значит, честно, благородно, ваше благородие, — прибавил в пояснение Матвеев, любивший иногда в разговоре с начальством вворачивать деликатные слова.

На смуглом худощавом лице Архипова выражалось полное сочувствие к просьбе товарища.

— Тишком?! — переспросил старший офицер, подавляя улыбку. — Ты и тишком так орешь, что тебя за версту слышно. Глотка-то у тебя медная, у дьявола!

Боцман стыдливо заморгал глазами от этого комплимента.

— Ты пойми, Матвеев, пассажирки — дамы. При них ведь нельзя языком паскудничать, как перед матросней.

— Точно так, ваше благородие, известно, дамы! — осклабился боцман. — К этому не привычны.

— То-то и есть! Так уж вы остерегайтесь... Не осрамите... А не то командир строго взыщет, да и я не поблагодарю...

— Будем стараться, ваше благородие! — ответили разом оба боцмана подавленными голосами.

— Ступайте!

Они юркнули из каюты старшего офицера, осторожно, на цыпочках, прошли один за другим через кают-компанию и, очутившись на палубе, останови-

лись и снова переглянулись, как два авгура, без слов понимающие друг друга.

— Ддд-а! — протянул Матвеев.

— Ловко! — промолвил Архипов.

— Нечего сказать: приказ! Остерегись тут!

— Как-то он сам остережется!

— Какая Кузькина мать принесла этих пассажи-рок, чтоб их...

И из уст Матвеева полилась та вдохновенная импровизация ругани, которая стяжала ему благоговейное удивление всей команды.

— А вестовые сказывали, будто горничная — цаца! — усмехнулся, подмигивая глазом, Архипов.

— И без нас, братец, довольно на эту цацу стракулистов! — сердито ответил Матвеев и кивнул головой на гардемаринскую каюту. — Небось, маху не дадут.

И оба боцмана, недовольные будущими пассажирами, поднялись наверх и пошли на бак сообщать распоряжение старшего офицера.

А там уж шустрый молодой вестовой Цветкова, Егорка, сообщал кучке собравшихся вокруг него матросов о том, что слышал в кают-компани, причем не отказал себе в удовольствии изукрасить слышанное своей собственной фантазией и произвел пассажирку в генеральши.

— Российского генерала, братцы, дочь, а здешнего генерала жена, — рассказывал не без увлечения Егорка. — Ва-ажная и кра-асивая! Сам генерал, братцы, из левольвера застрелился, неизвестно по какой причине — спекуляция какая-то приключилась, болезнь такая, а женка после того и заскучила...

— Известно — живой человек... Без мужа заскучит! — вставил кто-то.

— «Не хочу, говорит, после того оставаться в здешних проклятых местах... Неравно, говорит, и сама тою ж болезнью заболею и решу себя жизни. Желая, говорит, ехать беспрременно на родину и вторительно пойду замуж не иначе, как за русского человека».

— Видно, баба с рассудком. Это она правильно... Со своими живи! — раздалось чье-то замечание.

— И испросилась, значит, генеральша у капитана иттить с нами до Гонконга, а оттуда она на вольном пароходе. А с ей ее горничная. Мой мичман сказывал, что такая форсистая и пригожая девушка, вроде будто мамзели... Одно слово, братцы, краля!

— Она из каких, Егорка? Мериканка?

— Наша, православная. Из России привезена, хрестьянской девушкой... Только живши в Америке в этой, мамзелистой стала на хорошем-то харче... Здесь ведь, братцы, все мясо да белый хлеб... Народ в пинжаках...

— Ишь ты... русская! А давно мы русских девок не видали, ребята! — заметил один из слушателей.

— То-то давно... А наши не в пример лучше! — решительно заявил Егорка.

— Небось, Егорка, и здешние мамзели понравились?

— Что говорить, чистый народ, но только ни она тебя, ни ты ее понять не можешь... «Вери гут да вери гут», — вот и всего разговору...

— А хороши, шельмы, здешние... Очинно хороши...

— Наши-то поядреней... потоваристей, — засмеялся Егорка. — А здесь только что с лица хороши... А чтобы насчет ядерности против российских не суетиться... Костлявые какие-то...

Разговор принял несколько специальный характер, когда матросы стали входить в подробную оценку достоинств женщин разных наций. Все, впрочем, согласились на том, что хотя и англичанки, и француженки, и китайки, и японки, и каначки ничего себе, «бабы как бабы», но русские все-таки гораздо лучше.

III

В этот теплый и яркий сентябрьский день офицеры клипера, в ожидании пассажирки, особенно внимательно занялись туалетом и мылись, брились и чесались в своих каютах дольше, чем обыкновенно. К завтраку почти все явились в кают-компанию прифранченными,

в новых сюртуках с блестящими погонами и белых жилетах. Туго накрахмаленные воротники и рукава рубашек, мастерски вымытых в Сан-Франциско китайцами-прачками, сияли ослепительной белизной и блестя, словно полированные. Бакенбарды различных форм были бесподобно расчесаны и подбородки гладко выбриты. Усы, начиная с великолепных усов фатоватого лейтенанта Бакланова, длинных, шелковистых, составлявших предмет его гордости и особенных забот, и кончая едва заметными усиками самого юного гардемарина «Васеньки», были тщательно закручены и нафиксатуарены. Сильный душистый аромат щекотал обоняние, свидетельствуя, что господа моряки не пожалели ни духов, ни помады. Особенно благоухал старший офицер, Степан Дмитриевич. Щеголевато одетый, напомаженный, прикрывший часть лысины умелой прической, он словно чувствовал себя во всеоружии неотразимости соблазнительного мужчины и то и дело покручивал свои темнорыжие усы и ощупывал свой длинный красный нос, испробовав накануне новое верное средство против угрей.

Кают-компания, вымытая и убранная вестовыми, блестела той умопомрачающей чистотой, какая только известна на военных судах. Нигде ни пылинки. Клеенка сверкала, и щиты из корельской березы просто горели. На середине стола красовался в красной японской вазе, данной кем-то из офицеров, огромный роскошный букет, заказанный по настоянию Цветкова для украшения кают-компания. Вестовые были в чистых белых рубашках и штанах и обуты в парусиновые башмаки. Старший офицер еще вчера приказал им: на время присутствия пассажирки босыми не ходить и одеваться чисто, а не то...

Только «дедушка» Иван Иванович да старший судовой механик Игнатий Афанасьевич Гнененко нарушали общую картину парадного великолепия.

Иван Иванович сохранял обычный будничныи вид в своем стареньком, хотя и опрятном, люстриновом сюртучке, серебряные погоны которого давно потеряли свой блеск и съезжились, и с высокими «лисеями» (воротничками), упиравшимися в его чисто выбритые,

старчески румяные щеки, а Игнатий Афанасьевич, человек лет за тридцать, с добрыми светлыми глазами, отличавшийся крайним добродушием, невозмутимой хохлацкой флегмой и неряшливостью, явился в кают-компанию, по обыкновению, в засаленном кителе, с вечной дырой на локте. Воротник его рубашки, повязанный каким-то обрывком, был сомнительной свежести, всклокоченные волосы, видимо, требовали гребня и щетки.

Увидав Игнатия Афанасьевича в таком костюме, Цветков, сияющий, словно именинник, в ослепительно белом костюме, просто-таки пришел в ужас.

— Игнатий Афанасьевич... Голубчик... Помилосердствуйте! — возбужденно воскликнул он, озирая неуклюжую фигуру механика.

— А что? — невозмутимо осведомился Игнатий Афанасьевич.

— Нельзя же... На клипере будет дама, а вы... Посмотрите!

И Цветков показал дыру на локте.

Игнатий Афанасьевич тоже взглянул на дыру, почему-то потрогал ее пальцем и, улыбаясь глазами, проговорил с сильным малороссийским акцентом:

— Не зачинил шельма Иванов... А я давно ему говорил...

— Но самый сюртук! Что подумает пассажирка, увидав вас в таком костюме?

— А нехай думает, что хочет! — добродушно заметил Игнатий Афанасьевич.

Раздался взрыв смеха.

— Нет, уж вы, Игнатий Афанасьевич, поддержите честь клипера... Ради бога... Сюртука вам нового жаль, что ли?

— Да я не выйду ее смотреть...

— А если она зайдет в кают-компанию... Захочет взглянуть?.. Наконец, мы ее пригласим... Уж вы, Игнатий Афанасьевич, не спорьте, ей-богу... Не полнитесь, переоденьтесь...

Цветков так упрашивал, что Игнатий Афанасьевич, несмотря на свою лень, обещал переодеться...

— Только не думайте, что на ходу я стану для нее

одеваться... Под парами я в своей куртке буду! — заметил Игнатий Афанасьевич. — Она ко мне в машину не придет, надеюсь.

Пассажирку ждали к шести часам — к обеду, вместе с консулом и консульшей, приглашенными капитаном. В пять часов за гостями был послан шегольской капитанский катер. Другой катер отправился за багажом.

Цветков хотел было отправиться с катером, посланным за гостями, но старший офицер сказал ему, что, по распоряжению капитана, ехать с катером назначен гардемарин Летков («Васенька»).

— Да разве не все равно, кто поедет? Я, по крайней мере, уже знаком с пассажиркой... А Васенька охотно уступает мне свое право... Не правда ли, Васенька?

— Я очень рад не ехать! — подтвердил юный и очень застенчивый Васенька. — Я не умею разговаривать с дамами! — прибавил он, краснея.

— Так разрешите, Степан Дмитриевич!

— Нет, уж вы лучше сами, Владимир Алексенч, спросите капитана! — с улыбкой проговорил старший офицер.

— Что ж, и спрошу!

— Эка тебе не терпится увидеть юбку... Удивляюсь твоему легкомыслию! — процедил «милорд».

— И удивляйся! — огрызнулся Цветков, выходя из кают-компания.

Большая роскошная капитанская каюта была убрана, видимо, для пассажирки, особенно тщательно. Разные японские и китайские вещи, вынутые из ящиков капитана, были расставлены в разных местах, украшая убранство каюты. На накрытом, превосходно сервированном столе красовались букеты роз... Тонкий аромат духов стоял в воздухе.

Сам капитан, приодетый и прифранченный, с подстриженными волосами и баками, красный, как рак, и отдувающийся от жары, стоял, подавшись своим солидным брюшком вперед, озабоченно озирая убранство стола, и не заметил прихода мичмана.

«Ишь как он убрал каюту для пассажирки и как

сам разукрасился, толстопузый! — усмехнулся про себя Цветков, оглядывая каюту и самого толстяка-капитана. — Небось, и шампанское сегодня! — завистливо промелькнуло у него в голове при виде ваз с бутылками на столе. — Жаль, что не моя очередь у него обедать... «Милорд» будет!..»

— Петр Никитич! — проговорил мичман.

Капитан поднял голову и, увидав Цветкова в полном блеске, сухо спросил:

— Что прикажете-с, Владимир Алексеич?

— Позвольте мне, Петр Никитич, ехать с капитанским катером, вместо гардемарина Леткова.

— Это почему-с? Со шлюпками ездят гардемаринны, а вы, кажется, мичман-с.

Эти «ерсы», которыми сыпал капитан, и резкий, сухой тон его голоса, казалось, должны были бы предостеречь мичмана от продолжения и заставить его убраться по-добру, по-здорову из каюты, — но он, охваченный страстным желанием прокатить хорошенькую блондинку на катере под парусами и шегольнуть перед ней своим умением лихо управлять шлюпкой, — не замечал, что капитанские глаза предвещают бурю, и прежним легкомысленным тоном продолжал:

— В таком случае, позвольте, Петр Никитич, просто поехать встретить пассажирку. Быть может, ей понадобятся услуги какие-нибудь... Так я...

— Это еще что за встречи, Владимир Алексеич!? — перебил, закипая гневом, капитан. — Какие такие вы выдумали особенные встречи?.. Какие там услуги-с? С чего вы вздумали гоняться за пассажиркой? Вы ведь офицер военного судна, а не какой-нибудь, с позволения сказать, годовалый пойнтер-с! Тоже встречи устраивать! И как вы позволили себе, господин мичман, обращаться ко мне с таким вздором, а? — вдруг крикнул капитан, уставив свои выпученные глаза с вращающимися белками на Цветкова.

Никак не ожидавший такого гневного взрыва, Цветков проговорил:

— Я полагал, что...

— А вы не полагайте-с и не приходите к ка-

одеваться... Под парами я в своей куртке буду! — заметил Игнатий Афанасьевич. — Она ко мне в машину не придет, надеюсь.

Пассажирку ждали к шести часам — к обеду, вместе с консулом и консульшей, приглашенными капитаном. В пять часов за гостями был послан шегольской капитанский катер. Другой катер отправился за багажом.

Цветков хотел было отправиться с катером, посланным за гостями, но старший офицер сказал ему, что, по распоряжению капитана, ехать с катером назначен гардемарин Летков («Васенька»).

— Да разве не все равно, кто поедет? Я, по крайней мере, уже знаком с пассажиркой... А Васенька охотно уступает мне свое право... Не правда ли, Васенька?

— Я очень рад не ехать! — подтвердил юный и очень застенчивый Васенька. — Я не умею разговаривать с дамами! — прибавил он, краснея.

— Так разрешите, Степан Дмитриевич!

— Нет, уж вы лучше сами, Владимир Алексеич, спросите капитана! — с улыбкой проговорил старший офицер.

— Что ж, и спрошу!

— Эка тебе не терпится увидеть юбку... Удивляюсь твоему легкомыслию! — процедил «милорд».

— И удивляйся! — огрызнулся Цветков, выходя из кают-компания.

Большая роскошная капитанская каюта была убрана, видимо, для пассажирки, особенно тщательно. Разные японские и китайские вещи, вынутые из ящиков капитана, были расставлены в разных местах, украшая убранство каюты. На накрытом, превосходно сервированном столе красовались букеты роз... Тонкий аромат духов стоял в воздухе.

Сам капитан, приодетый и прифранченный, с подстриженными волосами и баками, красный, как рак, и отдувающийся от жары, стоял, подавшись своим солидным брюшком вперед, озабоченно озирая убранство стола, и не заметил прихода мичмана.

«Ишь как он убрал каюту для пассажирки и как

сам разукрасился, толстопузый! — усмехнулся про себя Цветков, оглядывая каюту и самого толстяка-капитана. — Небось, и шампанское сегодня! — завистливо промелькнуло у него в голове при виде ваз с бутылками на столе. — Жаль, что не моя очередь у него обедать... «Милорд» будет!..»

— Петр Никитич! — проговорил мичман.

Капитан поднял голову и, увидав Цветкова в полном блеске, сухо спросил:

— Что прикажете-с, Владимир Алексеич?

— Позвольте мне, Петр Никитич, ехать с капитанским катером, вместо гардемарина Леткова.

— Это почему-с? Со шлюпками ездят гардемаринны, а вы, кажется, мичман-с.

Эти «ерсы», которыми сыпал капитан, и резкий, сухой тон его голоса, казалось, должны были бы предостеречь мичмана от продолжения и заставить его убраться по-добру, по-здорову из каюты, — но он, охваченный страстным желанием прокатить хорошенькую блондинку на катере под парусами и щегольнуть перед ней своим умением лихо управлять шлюпкой, — не замечал, что капитанские глаза предвещают бурю, и прежним легкомысленным тоном продолжал:

— В таком случае, позвольте, Петр Никитич, просто поехать встретить пассажирку. Быть может, ей понадобятся услуги какие-нибудь... Так я...

— Это еще что за встречи, Владимир Алексеич!? — перебил, закипая гневом, капитан. — Какие такие вы выдумали особенные встречи?.. Какие там услуги-с? С чего вы вздумали гоняться за пассажиркой? Вы ведь офицер военного судна, а не какой-нибудь, с позволения сказать, годовалый пойнтер-с! Тоже встречи устраивать! И как вы позволили себе, господин мичман, обращаться ко мне с таким вздором, а? — вдруг крикнул капитан, уставив свои выпученные глаза с вращающимися белками на Цветкова.

Никак не ожидавший такого гневного взрыва, Цветков проговорил:

— Я полагал, что...

— А вы не полагайте-с и не приходите к ка-

питану с подобными заявлениями... Ишь... разрядились как! — прибавил капитан, оглядывая блестящего мичмана. — Какая-то пассажирка, а уж вы...

— Я полагаю, что это до службы не относится, Петр Никитич! — довольно твердо заметил Цветков, взглядывая на капитана в упор.

— Все-с относится к службе! — понижая тон, отвечал капитан. — Можете итти-с!

Цветков вернулся в кают-компанию в возбужденном состоянии, раздраженный.

— Ну что, едете за пассажиркой, Владимир Алексеич? — лукаво спросил старший офицер.

— Какое еду... Он еще меня разнес.

— За что же?

— А вот подите. Раскричался, словно оглашенный... Даже насчет костюма заметил: «разрядились», говорит... Но тут я ему задал «ассаже». Какое ему дело — разрядился я или нет? И с чего он взъерепенился, скажите на милость? Кажется, ничего нет позорного встретить даму?.. А, главное, сам-то он, ради пассажирки, франт франтом оделся... Ей-богу, вот увидите... И каюту изукрасил как! Везде китайщина и японщина... На столе букеты роз... К обеду шампанское... За что же мне-то попало?

— И не так еще попадет, Владимир Алексеич! — промолвил Иван Иванович.

— За какие такие дела, «дедушка»?

— А все из-за этой пассажирки.

— Она-то тут при чем?

— А при том, что вы все из-за нее с ума походите... Уж вот вы, батенька, горячку заporоли... непременно встречать ее захотели... Еще насмотритесь на пассажирку. Переход-то длинный.

— А сколько примерно времени?

— Да уж никак не меньше трех недель.

— И чудесно, «дедушка»! — воскликнул мичман.

— Что чудесно?

— Она три недели будет с нами.

— Эх вы... ненасытные! Мало вам, что ли, влюбляться на берегу — еще в море захотелось! — заме-

тил, улыбаясь, «дедушка». — Сколько у вас будет со- перников. Друг дружку станете ревновать.

— Она ни на кого из нас не обратит внимания, «дедушка».

— Ну, так вы и совсем взбеситесь. Помяните мое слово!

Цветков уже весело смеялся, слушая «дедушку», забыл о «разносе», полученном от капитана, и все время нетерпеливо поглядывал на часы.

В это время в кают-компанию вошел Игнатий Афанасьевич в новой паре, в чистой рубашке, повязанной каким-то необыкновенным бантом, приглаженный, прилизанный и выбритый.

— Bravo, Игнатий Афанасьевич. Совсем вы молодцом! — воскликнул Цветков.

— Того и гляди, в Игнатия Афанасьевича пассажирка влюбится! — заметил кто-то.

— А пусть влюбится! — невозмутимо произнес Игнатий Афанасьевич, вызывая общий смех, и поспешил присесть к столу, видимо, чувствуя себя не совсем ловко в новом платье и потому несколько удрученный.

— Катер, господа, идет! — крикнул в открытый люк вахтенный офицер.

Все бросились из кают-компания наверх смотреть пассажирку.

День был превосходный. Жара умерялась легким ветерком. Пользуясь им, капитанский катер, слегка накренившись, приближался под открытыми парусами к клиперу, лихо прорезывая кормы и носы многочисленных судов, стоявших на оживленном сан-францисском рейде.

Все бинокли устремились на катер. Один лишь Степан Дмитриевич, желая, в качестве старшего офицера, показать солидность, с напускным равнодушием разгуливал по шканцам, по временам подрагивая бедрами и неустанно закручивая усы.

— Ни-че-го осо-бен-но-го! — процедил, отводя бинокль, «милорд», стараясь показать ледяное равнодушие и корча из себя, по случаю приезда пассажирки, равнодушного ко всему в мире человека, как и подо-

бало быть, по его мнению, настоящему англичанину.

— И болван ты, благородный лорд, после этого! — воскликнул прильнувший глазами к биноклю Цветков.

— Парламентское выражение!

— Или ты врешь, или ничего не понимаешь в красоте. Она — идеально хороша... Вот увидишь ее вблизи, и если ты не английская швабра, то...

— И «швабра»... весьма мило! — насмешливо перебил «милорд».

— Да как же ты смеешь говорить: «ничего особенного». Чего тебе особенного?.. Однако Васенька молодцом правит... Ишь как ловко подрезал корму американцу... Лихо!

— Нет, хорошенькая, я вам скажу, дамочка! — произнес, ни к кому не обращаясь, кругленький, толстенный, чистенький доктор и захихикал своим мелким смехом.

— И, как следует, с аванпостами и вообще... Хо-хо-хо...

И пожилой старший артиллерийский офицер, интересовавшийся горничной, весело загоготал.

— Уже заржали молодцы! — промолвил «дедушка» и безнадежно махнул рукой.

— Да вы взгляните, Иван Иванович, так и сами... того... — обратился к нему вполголоса доктор, предлагая бинокль.

— Чего смотреть? Не видал я, что ли, юбок-с? Видывал. И без бинокля увижу. Небось, пассажирка будет вечно торчать наверху при таких кавалерах... Только вахтенному мешать будет!

Посматривали, рассыпавшись у бортов, и матросы на приближавшийся катер.

А в это время боцман Матвеев обходил клипер и вполголоса говорил матросам:

— Смотри же, ребята, чтобы, значит, худова слова ни боже ни... А не то я вас...

И боцман заканчивал, правда, довольно тихо, угрозами, сопровождая их самыми худыми словами.

— Сигнальщик! Доложи капитану, что катер с

консулом пристаёт к борту! — крикнул стоявший на вахте красивый блондин Бакланов. — Фалгребные наверх! — скомандовал он затем и, молодежато сбежав с мостика, пошел для встречи гостей.

В ту же минуту наверху появился капитан и, слегка сгорбившись, умышленно неторопливой, ленивой походкой направился к парадному трапу. Своим недовольным, сумрачным видом, своей походкой он словно хотел соблюсти свой капитанский престиж и показать перед офицерами, что приезд пассажирки не только нисколько его не интересует, но как будто даже и не особенно приятен.

Между тем катер, сделав поворот, лихо пристал к борту. Паруса миглом слетели, и «Васенька», разгоревшийся от волнения, бросил руль и предложил своим пассажирам выходить. Через несколько секунд на палубу, в числе других гостей — пожилой консульши и ее мужа — легко и свободно спустилась по маленькому трапу молодая пассажирка.

IV

Хотя увлекающийся мичман и сильно преувеличил красоту пассажирки в своих безумно восторженных дифирамбах, тем не менее она действительно была очень недурна собой, эта стройная, изящная, ослепительно свежая блондинка, небольшого роста, с карими глазами и светлосолотистыми волосами, волнистые прядки которых выбивались на лоб из-под маленькой «панамы» с короткими, прямыми полями, скромно украшенной лишь черной лентой.

Было что-то необыкновенно привлекательное в тонких чертах этого маленького, выразительного, умного личика с нежными, отливавшими румянцем, щеками, капризно приподнятым красивым носом, тонкими алыми губами и округленным подбородком с крошечной родинкой. Особенно мила была улыбка: ласковая, открытая, почти детская. Но взгляд блестящих карих глаз был далеко не «ангельский», как уверял Цветков. Напротив. В этом, повидимому, спокойно-приветливом

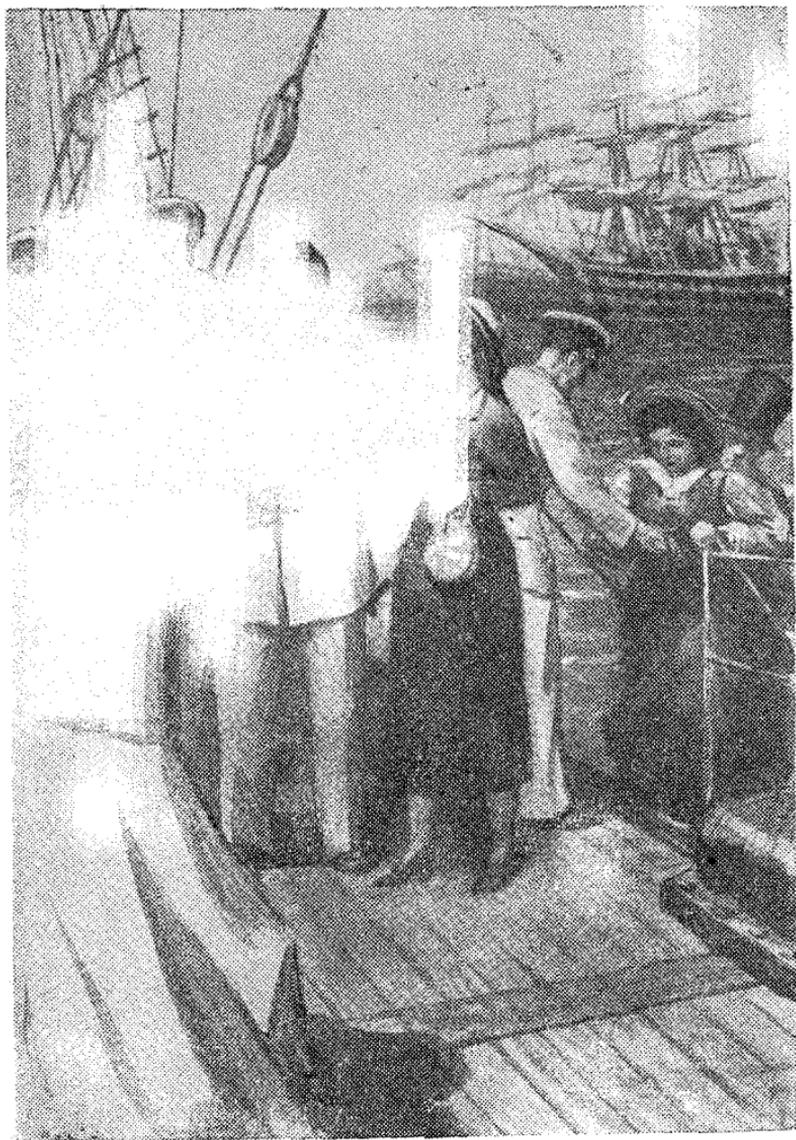
яном взоре как будто прятался насмешливый бесенок и чувствовалась кокетливая уверенность хорошенькой женщины, сознающей свою привлекательность и избалованной поклонниками.

«Пассажирка была вся в черном, что, впрочем, очень шло к ней, оттеняя поразительную белизну ее лица. Темная, изящная жакетка с небольшими отворотами обливала ее тонкий, крепкий стан, обрисовывая тонкую, точно девственную талию и красивые формы хорошо развитого бюста. Белоснежный отложной воротничок манишки, повязанный фуляром, не закрывал красивой, словно выточенной из мрамора, шеи. На груди адела бутоньерка из роз. Недлинная шелковая юбка позволяла видеть маленькие ноги в изящных кожаных ботинках. Все сидело на ней красиво и ловко, все до мелочей было полно изящного вкуса. И сама она, удивительно моложавая и цветущая, хорошо сложенная, видом своим скорей походила на молодую девушку, чем на тридцатилетнюю вдову, пережившую тяжелое горе.

Она шла по шканцам уверенной, легкой походкой, рядом с немолодой, пестро одетой, молодившейся, полной консульшей, приветливо отвечая на почтительные поклоны офицеров и, казалось, не замечая любопытных, полных восхищения взглядов, устремленных на нее.

Капитан, с обычной рыцарской галантностью моряков встретивший дам у трапа с обнаженной головой и любезно их приветствовавший, красный и вспотевший, торжественно улыбаясь, как на удачном адмиральском смотре, выступал около дам, стараясь подтянуть живот, с горделивым покровительственным видом индейского петуха. По дороге пришлось остановиться, чтобы представить пассажирке старшего офицера, доктора, батюшку и несколько офицеров, находившихся близко.

Степан Дмитриевич молодецки шаркнул своей толстой, короткой ножкой, снимая фуражку и наклоня белобрысую голову с зачесанной лысиной, и выразил свое удовольствие встретить соотечественницу «под небом Америки». Затем старший офицер метнул



К стр. 112

в пассажирку победоносным взглядом своих маленьких, уже замазлившихся глазок и, выпятив грудь и закручивая усы, подошел к консульше. Чистенький, свеженький, кругленький доктор немножко сконфузился, и все его пухлое лицо расплылось в улыбку. Он проговорил «очень приятно» и дал место молодому батюшке, иеромонаху Евгению, который почему-то вдруг покраснел и напряженно топтался на месте, пока капитан не вызвал отца Евгения из неловкого замешательства, подозвав двух гардемарин, которых и представил пассажирке. И эти двое молодых людей и еще представленные офицеры безмолвно кланялись, но их лица и без слов говорили, что молодым морякам очень приятно было познакомиться с такой хорошенькой пассажиркой. Один только «милорд», в качестве «холодного англичанина», изобразил на своем выбритом лице самое ледяное равнодушие («дескать, ты меня нисколько не интересуешь!») и, стоя от пассажирки, нарочно даже зевнул с видом скучающего джентльмена и отвел в сторону взгляд, хотя ему в очень хотелось посмотреть на пассажирку, в которой он не находил «ни-че-го о-со-бен-но-го».

Пассажирка с милой приветливостью протягивала свою маленькую ручку в черной лайке и крепко, «по-английски», пожимала всем руки, видимо, довольная, что находится среди соотечественников, на плувучем оторванном уголке далекой родины, и слышит вокруг русскую речь. Она ласковыми глазами взглядывала на матросов, рассыпавшихся по палубе, и сказала, обращаясь к капитану:

— Мне просто не верится, что я в России. Если бы вы знали, как я рада, капитан, и как я благодарна, что вы меня взяли!

И радостная улыбка озаряла ее хорошенькое личико, делая его еще обворожительнее.

— Помилуйте, — любезно ответил капитан: — я счастлив, что мог быть вам полезным и вообще... Только вы бы не соскучились. Вера Сергеевна, в море, а мы... мы... Мы-с употребим с своей стороны все старания, чтобы вы не скучали...

— С такими любезными людьми разве можно

скучать? И, наконец, я восемь лет не видела русских, а я ведь русская, да еще из Москвы! — прибавила пассажирка.

— Сердце России! — с одушевлением произнес капитан. — А москвички, насколько я встречал, премилые, позволю себе заметить-с, дамы. И очень привлекательные! — прибавил с улыбкой капитан в виде тонкого, по его мнению, комплимента.

— Вы бывали в Москве?

— Как же-с, имел это удовольствие. Она произвела на меня превосходное впечатление... Этот Кремль, радушие, сердечность! — не без горячности проговорил капитан и незаметно скользнул взглядом по белой, как сливки, хорошенькой шейке пассажирки.

— Ишь, «глазенапа» запускает! — заметил кто-то вполголоса в кучке гардемарин, стоявших вблизи, и раздался сдержанный смех.

Вероятно, до капитана донеслось это замечание, потому что он вдруг повернул голову, метнув свирепый взор, нахохлился и, не распространяясь более о Москве, заговорил с консульшей.

Увидав Цветкова, отвешивавшего ей низкий поклон, пассажирка ласково кивнула ему головой, как знакомому, и сделала несколько шагов ему навстречу.

— Что же вы не приехали за мной, Владимир Алексонч, как обещали? — любезно упрекнула она, протягивая просиявшему мичману руку.

— Нельзя было... Если б я только мог, Вера Сергеевна! — проговорил восторженно мичман, весь вспыхивая.

— Вас задержала служба?

— Какая служба! Просто капитан не пустил, — улыбаясь, заметил Цветков, понижая голос.

— Не пустил? Почему не пустил?

— Это его тайна! — усмехнулся Цветков. — Впрочем, и Васенька вас отлично довез... Не правда ли?

— Какой Васенька?

— Летков... Мы все так зовем этого милого юношу, который приезжал за вами.

— Мы отлично доехали... Отлично! — повторила пассажирка и прибавила: — А с вами мы опять будем

спорить, как вчера, лишь только познакомились... Я люблю таких спорщиков... Это напоминает мне молодые годы в Москве... Здесь так не спорят, и я давно так не спорила...

— Он отчаянный спорщик, Вера Сергеевна, — заметил капитан, подходя к Вере Сергеевне.

— О, я знаю. Вчера уж мы поспорили, но, к сожалению, не докончили спора. Надеюсь, докончим и начнем новый? — промолвила, улыбаясь, Вера Сергеевна и отошла с капитаном, пожав руку окончательно влюбленному и счастливому мичману.

Сзади дам, поминутно останавливавшихся, благодаря представлениям пассажирке офицеров, медленно подвигался консул, сухощавый, долговязый и серьезный финляндец, лет под пятьдесят, оживленно беседовавший по поводу каких-то счетов с ревизором клипера.

В это же время по другой стороне шканцев торопливо проходила, шурша накрахмаленными юбками и повиливая подолом, с опущенными вниз глазами, под перекрестными взглядами моряков, круглолицая, полнотелая, не лишенная миловидности, горничная, щеголевато одетая, в серой тальме и яркой шляпке, с мелкими вещами в руках, сопровождаемая молодым вестовым Цветковым, Егоркой, который нес маленький баул и две картонки с особенной осторожностью, словно боясь раздавить их в своих грубых рабочих руках.

— Сюда пожалуйста, мамзель, — шепнул Егорка, щеголяя перед этой «мамзелистой» горничной своим умением обращаться с дамами: — по этому трапу спускайтесь, — указал он головой на спуск в капитанскую каюту. И, спускаясь вслед за ней по трапу, Егорка обстоятельно любовался широким, полным затылком горничной и ее внушительными формами.

У каюты, перед буфетной, их встретил Иван Чижиков, капитанский вестовой, разбитной, молодой чернявый матрос, с плутоватыми глазами, с медной сережкой в ухе, с коротко стриженной головой, франтовато одетый, в белой собственной рубашке, с широким воротом, открывавшим крепкую загорелую шею, и в нитяных перчатках, надетых к парадному обеду.

— С приездом! — бойко и весело проговорил он, улыбаясь глазами и пропуская горничную.

Он принял от Егорки баул и картонки и, подмигнув ему глазом, вошел в каюту.

— И как же у вас здесь хо-ро-шо! — протянула горничная слегка певучим московским говорком, оглядывая большую, полную света, падающего сверху через люк, капитанскую каюту, с диванами вокруг бортов, с блестяще сервированным столом, сиявшим белизной скатерти, хрусталем и цветами.

— Для вас постарались, — любезно ответил Чижиков, взглядывая на краснощекое лицо горничной, полное и веселое, с добродушными серыми большими глазами, напоминавшее лицо деревенской здоровой, пригожей тридцатилетней бабы: — потому как теперича каюта в вашем полном распоряжении. Жить здесь будете... А как изволите величать вас?

— Аннушкой.

— А ежели по батюшке?

— Егоровной.

— Так доложу вам, Анна Егоровна, вещи эти я пока в спальне сложу... Пожалуйте их мне, — говорил вестовой, принимая из рук Аннушки мелкие вещи. Он поставил их вместе с картонками за альков и продолжал: — Потом разместите, как будет угодно... А как придет катер с багажом, вы только прикажите, что — куда, мы все как следует поставим и принятовим. Места у нас много... А что не надо, в ахтер-люк спустим. Не угодно ли, Анна Егоровна, полюбопытствовать, какая, значит, будет ваша квартира?

— Покажите, пожалуйста... А вас как звать?

— Иван Матвеев Чижиков. Вологодские будем.

— А я московская крестьянка, Иван Матвеевич.

— Но только вы, можно сказать, вовсе на американскую даму похожи, Анна Егоровна, — подпустил комплимент вестовой.

Аннушка усмехнулась с довольным видом и сказала:

— Здесь все женщины по-дамски ходят, что барыня, что прислуга...

А Чижиков продолжал:

— Вот эта самая каюта вроде быдто и зал, и кабинет, и столовая. Тут капитан занимается: лепорты пишет в Россию, как, мол, по морям ходим, на карте путь со штурманом прокладывают — куда и как, значит, плыть клиперу по наблюдению солнца секстантом. Тут и обедает. У нас завсегда два офицера к обеду приглашаются... Здесь вот спальня, — объяснил вестовой, раздвигая шелковый альков, открывший небольшую, освещенную бортовым иллюминатором, каюту, застланную пушистым ковром по полу и увешанную коврами по борту, к которому прилежала койка, — с роскошной шифоньеркой, комодом, умывальником и зеркалом. — Ваша генеральша будет почивать.

— Генеральша? Моя барыня точно генеральская дочь, но муж ейный был американский анжинер... Здесь-то и совсем почти генералов нет, не то, что в России.

— А сказывали: американская генеральша!.. Тут вот рядом сбоку ванная, ежели пожелаете, примерно, скупаться по жаркости.

— Словно у нас... Ровно как в городе...

— Нельзя... командирское звание! — не без достоинства заметил Чижиков. — А вот для вас каютка, Анна Егоровна, — продолжал вестовой, уводя Аннушку из капитанской каюты и указывая на крошечную каютку, сейчас за дверью, у трапа. — Тесновато маленько, Анна Егоровна. Мне-то, по матросскому моему званию, привычное дело, а вам, при вашей, можно сказать, деликатности, не такое бы следовало помещение.

Аннушка ласково усмехнулась, взглядывая на обходительного, любезного вестового, говорившего ей комплименты, и заметила, смеясь:

— Не барыня — потеснюсь. Всяко жили. А вы со своим барином как же?

— А мы наверху, в «рубке». Надо, говорит, дамам уважение сделать и «постеснироваться». Он у нас, Анна Егоровна, — конфиденциально сообщил Чижиков, улыбаясь своими плутоватыми глазами: — даром что человек старый и грузный, а очень почитает женский пол. С мужчинами, ежели по службе, прямо сказать, зубастая щука, а с вашей, примерно, сестрой —

вроде быгто теленка... А я, значит, Анна Егоровна, назначен к вам, буду приходить сюда справлять свою часть: накрыть на стол, подавать кушать, все, как следует.

— Я вам помогать стану, — добродушно промолвила Аннушка.

И, войдя в каютку, она сняла шляпку и стала было снимать тальму, как вестовой помог ей, подхватил плащ и повесил на крючок.

— Благодарствуйте!

Аннушка оправила свое праздничное яркое шерстяное платье, обрисовывавшее крупные формы ее полной высокой фигуры, и медленно, с серьезным лицом, стала креститься на маленький образок, висевший в углу.

Затем она присела на койку и радостно сказала:

— И как же я рада, что господь привел возвращаться в Россию да со своими встретиться. Совсем на чужой стороне стосковалась. Кабы не жаль было барыни, кажется, давно бы убежала.

— Все в Америке жили? — спрашивал Чижиков, стоя у порога и покручивая усы, и в то же время чутко прислушивающийся, не идет ли капитан с гостями.

— В Америке.

— Сторона, сказывают, вольная.

— Вольная-то вольная, и живут люди чисто, и обращение учтивое, особливо с нашей сестрой, а все чужая сторона... К своим так и тянет... Батюшка с матушкой да сестры с братом в деревне живут, и повидать их жду не дождусь... Как приедем, сейчас отпросись у барыни в деревню погостить.

— А барыня, значит, добрая?

— Добрая... и меня на волю отпустила и исхлопотала за батюшку у своего брата... Отец-то ее помер...

— Нонче и всем скоро воля выйдет, — заметил Чижиков и спросил: — А вы, Анна Егоровна, по-иному ему говорить умеете?

— Научилась. Восемь лет здесь жили.

— Ишь ты! Поди, трудно научиться?

— Вовсе не трудно.

— Однако пока прощайте, Анна Егоровна. Госпо

да, кажется, идут! А я вам сюда подам... маленький столик накрою. Какого вина прикажете: красного или белого?

— Все равно... Вы не беспокойтесь, Иван Матвееч.

— Очень даже лестно для вас услужить, а не то, что беспокойство, Анна Егоровна! — проговорил Чижиков, бросая выразительный взгляд на Аннушку, и перешел в буфетную — напротив.

А Аннушка, закрыв дверь, достала из своего мешка зеркальце, гребень и щетку и, повесив зеркальце на гвоздик, погляделась в него и, оправляя свои темнорусые густые волосы, усмехнулась не без кокетства.

Через несколько минут гости с капитаном спустились в каюту.

— Вот-с ваше помещение, Вера Сергеевна, — проговорил капитан. — Вы здесь полная хозяйка.

Пассажирка восхищалась каютой и благодарила.

Капитан помог дамам снять их жакетки, принял шляпки и вообще был необыкновенно любезен. Когда ровно к шести часам собрались приглашенные к обеду: старший офицер, доктор, «милорд» и гардемарин «Васенька», — капитан повел дам к маленькому столу, уставленному закусками, и пригласил их, «по русскому обычаю, закусить».

— Вера Сергеевна... Чего прикажете? Вы, чай, отвыкли от наших порядков... Позвольте вам икры положить! Русская икорка!

За обедом он сидел между двумя дамами и угощал их с хлебосольным радушием. Он любил покушать, и стол и вина у него были хорошие. Сам капитан за обедом занимал больше пассажирку, к вящей досаде Степана Дмитриевича, который принужден был занимать консульшу и только мог глазами пожирать хорошенькую блондинку. Доктор и ел за обе щеки и поглядывал на пассажирку, и рассказывал какой-то забавный анекдот. «Милорд», напустивший на себя бесстрастность, солидно беседовал с консулом и подливал ему вина. Один лишь юный Васенька все время застенчиво краснел, не раскрывая рта и не смея поднять глаз на Веру Сергеевну. Он только изредка украдкой взглядывал на нее и, встретив раз ее взгляд, зардел.

ся, как маков цвет, уставился в тарелку и больше не решался смотреть.

К концу обеда, когда подали жаркое с брусничным вареньем, вывезенным еще из России, и Чижигов разлил шампанское, капитан, совсем размякший от еды, вина и присутствия хорошенькой женщины, предложил тост за милых дам и потом отдельно за «пассажирку». При этом он произнес короткий спич, в котором пожелал, чтобы плавание было благополучное и чтобы Вера Сергеевна, вернувшись в Россию, не поминала его лихом.

Все чокались друг с другом. Веселый и ставший необыкновенно добродушным капитан, глаза которого с начала обеда приняли несколько телячье выражение, предложил, обращаясь к пассажирке, тост за Москву и, еще раз чокаясь, неожиданно спросил:

— Вас укачивает, Вера Сергеевна?

— Кажется, нет, — отвечала она, ставя бокал, из которого чуть-чуть хлебнула.

— Ну, тогда вам нечего бояться! — радостно воскликнул капитан, втайне довольный, что пассажирка не будет «лежать в лежку» и, следовательно, ее можно будет видеть. — Вы ведь уж окрещены... Раз переплывали океан... Ей-богу, он не страшен, совсем не страшен... Да и наш «Забияка» доброе судно! — любовно прибавил капитан. — Отлично штормы выдерживает. Помните, Степан Дмитрич, как нас весной трепануло у Сангарского пролива?

— Изрядный был штормяга! — подтвердил и старший офицер.

— А «Забияке» хоть бы что... Только катер потеряли...

Эти воспоминания, приятные для моряков, не особенно были приятны для пассажирки, но она ничем не выдала охватившего ее беспокойства и с внимательной улыбкой слушала, когда капитан стал рассказывать в подробностях об этом «дьявольском шторме»

Старший офицер посматривал украдкой на пассажирку взглядом, полным восторга и «прованского маэла», и в уме решил, что за ней следует серьезно «при-

ударить». Она вполне отвечала его эстетическим требованиям. И в голове его, не совсем свежей после бордо, портера, хереса, портвейна и шампанского, смутно бродили даже смелые мысли насчет того, что недурно бы предложить ей руку и сердце. Она будет жена хоть куда. И хороша собой, и такая аппетитная, чорт возьми, и приобрела житейский опыт — не какая-нибудь молодая девчонка — и, видимо, с умом бабочка... Надо покороче ее узнать и... куда ни шло... Она, конечно, не откажет! — горделиво подумал Степан Дмитриевич, совершенно забывая в эту минуту о четырех отказах, уже благополучно скушанных им и все-таки не поколебавших в нем уверенности в своей неотразимости.

Заметил ли он, что рассказ капитана о шторме не особенно приятно действует на пассажирку, или просто хотел приободрить ее, но только он проговорил, по окончании рассказа, обращаясь к пассажирке:

— Я уверен, что ваше плавание будет превосходным... и никаких штормов не будет...

— Отчего это? — спросила пассажирка.

— Вы принесете нам счастье, Вера Сергеевна...

И доктор сказал что-то утешительное. И капитан заметил:

— Теперь время самое благоприятное... Какие штормы!

Пассажирка, тронутая этим общим вниманием, повидимому, самым бескорыстным, улыбалась в ответ, и ее лицо, казалось, говорило:

«Какие простые и добрые люди эти моряки!»

А пока шел обед, Цветков малодушно нет-нет да и заглядывал через открытый, задернутый флагом люк капитанской каюты и любовался блондинкою, чувствуя себя на седьмом небе при воспоминании об ее любезной приветливости.

И он ходил по палубе, досадуя, что обед тянется так долго, и мечтал. Мечты уносили его далеко. Он грезил, что «Забияка» вдруг потерпит крушение. Все погибнут. И только она да он спасутся на необитаемом острове.

«Фу-ты, какой я болван!» — говорил он сам себе

не без некоторого основания, соображая нелепость мечтаний, и смеялся.

Он так и не говорил в этот вечер с пассажиркой.

Консул и консульша, несмотря на искренние пожелания Цветкова, чтобы они поскорее убралась к черту, засиделись долго, пили чай и уехали с клипера поздно вечером. Вера Сергеевна вышла их проводить и затем гуляла по палубе. Но Цветкову нельзя было подойти. Этот «толстопузый» не отходил от нее, за что был изруган Цветковым самым беспощадным образом, несмотря на его капитанское звание. Через четверть часа пассажирка простилась с капитаном и ушла в каюту.

— Видно, нагнал скучищу, старый черт! — промолвил Цветков не без злорадства и продолжал гулять по палубе.

Но она не выходила.

В полночь все, кроме вахтенных, спали. Только мичман не спал в своей каюте и без сюртука строчил стихи, да вестовой Чижиков, койка которого висела рядом с койкой Егорки, вполголоса рассказывал соседу о красоте Аннушки, и оба они по временам издавали восторженные восклицания.

На следующее утро, с рассветом, клипер снялся с якоря, вышел под парами из бухты, прошел пролив, поставил все паруса и с попутным теплым ветром понесся в открытый океан.

К 8 часам, к подъему флага, все офицеры вышли приодетые, веселые и как-то особенно настроенные. Присутствие пассажирки, видимо, подтянуло всех. Даже «дедушка» был в новом сюртуке.

А когда около полудня чудного дня с высоко поднявшимся солнцем, сверкавшим с бирюзовой выси, на палубе клипера показалась свежая, как вешний день, пассажирка, все офицеры один за другим поднялись на палубу.

V

Любезное предсказание старшего офицера Степана Дмитриевича о том, что пассажирка принесет счастье, повидимому, оправдалось.

Прошло уже десять дней, как мы ушли из Сан-Франциско, и все это время плавание наше действительно было, на редкость, прелестное. Погода стояла отличная: теплая, без угнетающей жары. Солнце ни разу не закрывалось черными, мрачно нависшими тучами или клочковатыми, бешено несущимися, зловещими облаками и, ослепительное, заливая ярким блестящим океан, весело сверкало с далекой высоты чудного бирюзового неба, по которому двигались, гонимые воздушным течением, молочные перистые облачка необыкновенно изящных очертаний и прихотливых узоров, точно выведенных волшебным резцом. По временам они нагоняли друг друга и, соединяясь, представляли собой белоснежные фантастические города с церквями, узорчатыми башнями, деревьями, медленно плывущими по яркоголубой лазури.

Далекий горизонт, куда ни взглянешь, чист. Не видно на нем этого маленького издали темносерого пятна, быстро растающего, по мере своего приближения, в гигантский столб дождевой шквалистой тучи, яростно несущейся среди внезапно наступившего затишья на судно, благоразумно поспешившее убрать свои паруса, чтоб не быть уничтоженным грозным шквалом.

И сам загадочный и таинственный дедушка-океан, вея приятной прохладой и выдыхая аромат озона, был в самом милостивом и благодушном настроении, как бы стараясь оправдать свою далеко не справедливую кличку «Тихого». С ласковым рокотом, неторопливо и плавно катил он могучие светлосиние волны, бережно и спокойно, словно добрый пестун, покачивая на своей мощной коварной груди маленький трехмачтовый клипер.

И «Забияка», стройный и красивый, похожий на птицу с распушенными гигантскими белыми крыльями, летел под всеми парусами, имея лиселя с правой, с ровным попутным мягким норд-вестом, узлов по девяти в час, рассекая с тихим гулом воду своим острым водорезом и оставляя за кормой след в виде серебряной ленты.

Светло, ясно и радостно кругом!

— Эка благодать! — говорят весело матросы, радуясь и спокойным вахтам, и спокойным ночам, не прерываемым окриками боцмана, призывающего «всех наверх». — Так-то, братцы, плавать еще куда ни шло... Кабы завсегда да так!

— Ишь, шельма, как высоко забрался... Гляди-кось! — восклицает кто-то.

И матросы беспечно глядят вверх, где в прозрачном воздухе реет альбатрос.

— Рыбки наелся и отдыхает...

— Вон, парусок-от белеет... Должно, купец...

— Купец и есть... Гличанин какой, а то из голландцев... Привышны они к морю... Им что на сухом пути, что на воде — все едино...

— Не то, что наш брат, российский...

— И пречудесно, господа! Ах, как пречудесно! — восклицает на баке фельдшер Завитков среди маленького кружка баковой аристократии: двух боцманов, подшкипера, баталера и писаря. — Теперь бы только сюда Анну Егоровну... так окончательно один восторг... Как вы об этом полагаете, Артемий Нилыч? — обращается фельдшер к боцману Матвееву.

— Ну се к чертовой... тетеньке! Из-за них только неприятности! — недовольно промолвил боцман, которому еще сегодня утром попало от старшего офицера за ругань, раздававшуюся на баке во время обычной утренней уборки клипера, когда пассажирки спали, и боцман, рассчитывая на их крепкий сон, дал полную волю своей артистической импровизации.

— А вы, Артемий Нилыч, уж потерпите, пока пассажирки. Что делать! — успокаивал боцмана фельдшер. — И напрасно вы насчет Анны Егоровны так выражаетесь. Очень она славная девица... Такая белая, рассыпчатая... Одно слово: бельфамистая... И разговор у нее деликатный... Сейчас видно, что видала людей.

— С ней подлец Чижиков шуры да муры. Все около нее липнет в каюте по своей должности. Ловок он, bestия, насчет девок. В Кронштадте двух горничных

облестил! — не без зависти заметил рябой и некрасивый баталер.

— Станет она с вестовым заниматься! — воскликнул фельдшер, обижаясь за горничную. — Она не какая-нибудь кронштадтская чумичка, а понимает обращение, с кем и как... недаром в загранице жила. Какая ей компания вестовой!.. На нее офицеры и гардемарины зарятся... Так и сторожат, как она в палубе покажется, а вы: вестовой!? Вчера вечером... смеху было, — продолжал Завитков и рассмеялся.

— А что?

— Поджидал это Анну Егоровну артиллерист Евграф Иваныч в палубе, все выглядывал из своей каюты: не идет ли? Думал: никто не видит, а я притулился за машиной и жду... От фонаря вижу, как он, весь красный, глаза пялит... Ладно. Прошло так минут с пять времени, спускается Аннушка с трапа с чайником, — за кипятком к камбузу, идет это тихонько, — а он ей рукой машет. «Не хотите ли, говорит, Аннушка, на мою каюту полюбопытствовать. Отличная у меня каюта. Я вам, говорит, разные вещицы покажу...»

— Ишь, дьявол... «каюту»! Рожа-то у него вроде швабры, а туда же! — воскликнул с веселым смехом боцман Матвеев.

— То-то мне и смешно было.

— Что ж она, пошла? — нетерпеливо раздался голоса.

— Не пошла... «Очень, говорит, вам мерси, но в каюту не согласна». Так Евграф Иваныч только заржал от отчаянности и захлопнул двери.

Веселый смех над пожилым артиллерийским офицером разразился среди кучки. Все, видимо, были очень рады неудачному исходу его авантюры.

А фельдшер продолжал:

— Идет, значит, Анна Егоровна дальше, как к ней, откуда ни возьмись, гардемарин Касаткин... Тоже, вихрастый, ее сторожил.

— Пройти, черти, не дают!

— «Ах, какая вы, Аннушка, хорошенькая. Позвольте вас поцеловать, упользоваться случаем». Это

он тишком говорит, а сам, не будь дурак, облапил ее и пробует, значит, из какой такой материи у нее кофточка...

— Ах, шельмец!

— Она вырваться: «Оставьте, говорит, молодой человек». А Касаткин ей: «Простите, говорит, очень вы мне нравитесь», и чмок, чмок, два раза в шею поцеловал, да и был таков...

— Ишь ты... отчаянный какой! — с сочувственным смехом промолвил Матвеев. — Будет ему от капитана, если Аннушка да пожалуется своей барыне... Он его отчешет да на сальник (салинг) на выsidку пошлет...

— И поделом: не приставай! — заметил фельдшер.

— А тебе, небось, завидно?.. Однако, пора и к водке свистать! Выноси-ка, баталер, водку! — сказал Матвеев, и аристократы бака разошлись.

Иван Иванович с секстантом в руке уже ловит «полдень». Его помощник, молодой штурманский прапорщик, отсчитывает на часах секунды.

— Спот! — произнес старый штурман и машет рукой.

В колокол бьют «рынду», и все проверяют часы.

А сам «дедушка» в новом люстриновом сюртучке, в сбитой на затылок фуражке, торопливо спускается к себе в каюту, чтобы закончить утренние вычисления. Через пять минут все готово. Полуденные широта и долгота получены. Мы точно знаем, в какой точке земного шара находимся и сколько прошли за сутки миль.

Суточное плавание отличное. Все довольны, начиная с капитана и кончая «Васенькой», что мы «отмахали» более двухсот миль, что погода отличная, ветер попутный, и что, наконец, хорошенькая пассажирка часто показывается на палубе, что она тут, свежая, красивая и приветливая, один вид которой доставляет морякам удовольствие и как-то подтягивает их.

И сам «дедушка», в первые дни ворчавший, что на клипере пассажирка, приглядевшись к ней, значительно смягчился. Правда, он ждал всяческих историй в кают-компании из-за нее (недаром Цветков уже ходил, как полоумный, Степан Дмитриевич ежедневно душился, а капитан придирался без всякой причины к молодым офицерам), но находил ее вообще «молодцом-дамой». Ее не укачивает, держит она себя просто и умно, без всяких, как он выражался, «цирлих-манирлихов» и «не разводит антимионии», как вообще дамы, изображающие из себя «разварную лососину».

Вследствие такого отношения к пассажирке, Иван Иванович каждый день докладывал ей о пройденном расстоянии.

И сегодня, выйдя из капитанской рубки, где проверил хронометры, он подошел к пассажирке. Она сидела на юте, под тентом, в шез-лонге, одетая в легкое серое платье, с морской шапочкой на белокурой головке. Офицеры завтракали. Она была одна и читала книгу. Красивый блондин Бакланов, стоявший на вахте, шагал по мостику, поглядывая на молодую женщину, но спуститься и заговорить с ней не смел. Того и гляди появится капитан — и тогда разнос. Уж было этих историй!

— С добрым утром, Вера Сергеевна!

— Здравствуйте, Иван Иванович! — радостно ответила она «дедушке», протягивая маленькую, изящную белую ручку с обручальным кольцом на третьем пальце и бирюзой на крохотном мизинце, которую он почтительно пожал в своей морщинистой широкой лапе.

Ей очень нравился этот славный добряк Иван Иванович, простой и бесхитростный, относившийся к ней сердечно и ласково, без ухаживаний, и она всегда рада была, когда он подходил к ней сообщать о пройденном расстоянии.

— Сколько, Иван Иванович, прошли... Двести или больше?

— Двести двадцать две мильки-с пробежали, Вера Сергеевна... Отлично идем... Погода — прелесть,

чтоб не сглазить! И подлинно вы нам счастье принесли, Вера Сергеевна...

— И вы комплименты стали говорить, добрейший Иван Иванович?.. С каких это пор? Ведь вы, кажется, не любите дам на корабле? — прибавила с лукавой улыбкой молодая женщина.

«Дедушка» несколько смутился.

— А уж вам разболтали наши молодцы? Экие сороки! Что ж, скрывать не стану-с, Вера Сергеевна... Говорил в этом роде, точно говорил-с.

— Почему же не любите? Или вы вообще женщин не любите? — допрашивала, смеясь, молодая женщина.

Старый штурман запротестовал самым решительным образом против такого обвинения.

— Что вы, что вы, Вера Сергеевна! За что мне не любить дам? У меня в Кронштадте и свои дорогие дамы остались, жена и две дочери, — с чувством подчеркнул старик: — так как же мне не любить дам-с? Напротив, я их очень почитаю и уважаю, особенно таких, позволю откровенно сказать, таких милых и достойных, как вы, Вера Сергеевна! — прибавил «дедушка» с рыцарской любезностью.

И, пуская затем в ход все свое красноречие, Иван Иванович «забрал ходу» и продолжал:

— По дамская сфера, так сказать, не море, а берег-с. На твердой земле, в полной безопасности, — вот-с ее назначение, а не на палубе судна... Мало ли что случается в море? Вот теперь, слава тебе господи, все благополучно... Вы сидите себе спокойно, вас не укачивает... да и какая это качка! А как вдруг засвежеет, как начнет трепать-с! Нам, морякам, ничего. Поставили штормовые паруса и жди, пока штормяга отойдет, а даме и боязливо, и неприятно, и докучно-с. Ну, и жалко, очень даже жалко в таком случае даму. Она ведь создание деликатное... нервы чувствительные... И лежит, беденькая... «Ох да ох...» Смотреть больно... В этом смысле я и говорил... Поверьте, милая барыня... И, наконец, дама даме рознь...

Разумеется, пассажирка, «поверила» и поблагодарила Ивана Ивановича за доброе о себе мнение,

и «дедушка», поболтав еще несколько минут, отошел от молодой женщины, вполне уверенный, что «заговорил ей зубы» и что она не знает истинной причины его нелюбви к даме на корабле.

Не говорить же ей, в самом деле, что все наши ребята, как коты по весне, ошалелые бегают. Сама может догадаться... Видит, как за ней увиваются все, начиная с капитана!..

«А прехорошенькая! Недаром всех с ума свела. Прехорошенькая дамочка! И вся такая бяляночка!» — усмехнулся про себя Иван Иванович.

И старый штурман, вообще степенный и строгих правил человек, которого никогда не видали на берегу в обществе «космополиток-дам» или туземных разноцветных красавиц, неожиданно смутился и сердито крякнул, точно прочищая горло. Целомудрие его было оскорблено. Глупые мысли насчет пассажирки полезли в его старую голову. Он покраснел и нахмурился.

— Э-э-э-э! И вы, «дедушка», того?.. Иду я из лазарета и вижу, — заговорил доктор, хитро улыбаясь маленькими глазками.

«Дедушка» совсем смутился и, досадуя на свое смущение, с напускным равнодушием спросил:

— Что ж вы такого видели, Антон Васильич?

— И вы начали приударять за пассажиркой, а?

Иван Иванович испуганно повернул голову. Доктор говорил так громко, что пассажирка могла услышать. По счастью, ее не было.

— Скрылась, скрылась... Сию минуту с капитаном ушла завтракать... Отравит он ей завтрак своими старыми анекдотами... Ишь ведь как вы любезничали с барынькой... хе-хе-хе. Ловко! Представляется женоненавистником, а сам...

— Да полно вам врать вздор, Антон Васильич. Это мячманам да разве таким саврасам, как вы, впору любезничать, а не мне... Я просто сказал ей, сколько мы прошли миль. Только и разговору было.

— Рассказывайте, рассказывайте, Иван Иваныч... Видел я... Ведь пассажирочка-то преаппетитная... И ручки, и ножки, и бюстик... Небось, «дедушка», и вы

молодость вспомнили... Глазенапа-то запускали на белоснежную шейку?.. Признайтесь...

— Тьфу, бесстыдник... А еще женатый! Вот, вернемся, жене скажу!

— А что ж, говорите... Грех разве любоваться на чужой товар?

— Ну вас... Отстаньте! — сердито проговорил старший штурман и поспешно спустился вниз, слыша сзади веселый, мелкий смех циника-доктора.

«И впрямь саврас!» — мысленно обругал доктора возмущенный «дедушка» и, сердитый, молча садится в кают-компанию завтракать, предварительно выпив объемистую рюмку джина.

Все, исключая механика да батюшки, торопятся окончить завтрак, чтобы выйти наверх и поболтать с пассажиркой, если она выйдет на палубу и не будет читать, желая избавиться от слишком большой внимательности господ моряков. Старший офицер, надушенный так, что пахло на всю каюту, торжественно сосредоточен. За эти десять дней он решительно пришел к заключению, что ему следует сделать попытку: предложить руку и сердце. Он во всяком случае «партия недурная». Человек с положением в некотором роде, офицер на виду. Через год вернется, наверное, сделают командиром. Глухо было бы отказать! Он все настойчивее думал об этом решительном шаге, нередко восхвалял пассажирке прелести семейного счастья и только затруднялся: устно или письменно сообщить ей о своем великодушном намерении.

«Положим, — рассуждал он, мечтая о браке с хорошенькой вдовушкой: — она покамест не только не делает никаких авансов, но даже довольно равнодушно слушает его и подчас даже подсмеивается, но, быть может, это одна женская дипломатия! Знаем мы женщин, славу богу! — самодовольно усмехнулся, при этом Степан Дмитриевич. — Правда, она со всеми любезна и приветлива, всегда умеет как-то ловко отклонить слишком восторженные комплименты (Степан Дмитриевич это на себе испытал), но не тонкое ли это кокетство?.. Она в некотором роде дьяволенок, эта вдовушка. С ней надо ухо остро... И не для отвода ли

глаз она часто спорит с этим влюбленным мальчишкой, легкомысленным Цветковым, играет с ним в четыре руки и заставляет его читать ей вслух. Ведь не может же ей нравиться такая взбалмошная тарантал! А он-то, чего доброго, воображает, что победил пассажирку. Вот-то попал пальцем в небо!» — заносчиво думал Степан Дмитриевич и, припомнив это, не без досадливого чувства взглянул теперь на курчавого, красивого мичмана, который рассеянно, видимо, чем-то взволнованный, лениво ковырял вилкой.

В свою очередь и влюбленный мичман про себя посмеивался над ухаживанием Степана Дмитриевича и полагал, кажется, не без некоторого основания, что человек, у которого «рожа вроде медной кастрюльки», «толстые ноги колесом» и, вдобавок, воображающий себя красивым мужчиной, — едва ли может обратить на себя какое-нибудь внимание такой умницы и такой изящной женщины, как Вера Сергеевна. Его раздражал и возмущал не этот «брам-брас» Степан Дмитриевич, а «хлыщ» и «нахал» Бакланов. Вот кто терзал до глубины души ревнивого мичмана! Как он на все пахально смотрит своими большими голубыми глазами, ска-а-а-тина! Как он смеет так смотреть на нее, мер-за-вец! Он от всей души ненавидит этого спокойного, самоуверенного, красивого блондина, особенно со вчерашнего вечера, когда Бакланов пел в кают-компании романсы, и пассажирка долго слушала и хвалила его «бархатный баритон». А он обрадовался — давай еще и еще... и все больше: t'ато, t'ато...¹ подлец этакий!

Бедный мичман рвал и метал. Он похудел и побледнел за эти дни от бессонных ночей, посвящая их неистовому строчению самых лирических стихов, и по временам так свирепо на всех глядел, точно сейчас готов в ссору. Вдобавок и капитан к нему придирался, — то и дело разносил...

С товарищем и приятелем «милордом» у них стали тоже натянутые отношения. Еще был Цедил,

¹ Люблю тебя, люблю тебя...

цедил: «ничего особенного», делал вид, что не обращает на пассажирку никакого внимания, а теперь не отходит от нее, старается острить... думает: умно... Болван этакий... А еще жених... Клялся, что любит по гроб свою невесту, а сам... Рыжая каналья!

Нет, все они циники, все с подлейшей стороны смотрят на женщину и не понимают, что можно любить благоговейно, бескорыстно, не бывши любимым... Один только он любил ее святой, чистой любовью.

— Ты что это, сэр, в виде рыцаря печального образа? Или капитан призывал в рубку? Разнес опять? — спросил, процеживая лениво слова, «милорд».

— А тебе что? — резко спросил мичман, и в его черных глазах блеснул огонек.

— Ровнешенько ничего.

— Так чего ты спрашиваешь?

— Простите-с, не буду! — иронически промолвил «милорд» и благообразно умолк.

«Дедушка» беспокойно взглянул на Цветкова и покачал головой, словно бы хотел сказать: «Начинается!»

Взглянул и Степан Дмитриевич на мрачную физиономию обыкновенно веселого и жизнерадостного мичмана и, чтобы отвлечь его от «милорда», заговорил о чем-то с ним.

Завтрак быстро окончен. Все уходит наверх. В кают-компании остаются только «дедушка», допивающий свой стакан красного вина, отец Евгений, механик в новом сюртуке и Цветков. Наконец, батюшка и механик ушли отдохнуть, и старый штурман с молодым человеком остались одни.

VI

Отхлебывая небольшими глотками вино, «дедушка» украдкой участливо взглядывал на мрачно задумавшегося Цветкова и, наконец, мягко спросил:

— Что вы, батенька, надулись, как мышь на

крупу? Или, в самом деле, серьезные неприятности с капитаном?

— Ну его... капитана, черт с ним! Пусть придирается.

— Так в чем же дело?

— Не могу я, «дедушка», терпеть более этого скотства, вот в чем дело, если вы хотите знать! — порывисто воскликнул, встряхивая своей кудрявой головой, мичман, видимо, обрадовавшийся случаю излить свое негодование перед единственным на клипере человеком, не ухаживавшим за пассажирской.

— Какого скотства? — переспросил Иван Иванович, удивленно поднимая свои седые густые брови.

— Понимаете... этого безобразно подлого отношения к такой святой женщине, как Вера Сергеевна! — возбужденно отвечал Цветков и тотчас же вспыхнул.

— Гм... Вот оно что, — протянул старый штурман.

— Особенно этот нахал Бакланов... Честное слово, я запалю ему, наконец, в морду... Пусть вызывает на дуэль... Будем стреляться... Очень рад.

— Что вы, что вы, Владимир Алексеич? Как можно даже говорить такие слова! — строго заметил «дедушка» и укоризненно покачал головой. — Мы вдали от отечества, от родных и близких, нас небольшая горсточка, которая должна избегать ссор, чтобы вместо плавания не было каторги, а вы захотели дуэлей? Уж вы извините меня, голубчик, а я прямо скажу: нехорошо, очень нехорошо-с! Каково убить товарища или самому быть застреленным, причинив тяжкое горе родным, — подумали вы об этом? Я вот сорок лет во флоте служу, а не слышал о дуэлях на судах, слава богу. Ишь тоже что выдумал: дуэль? Не ждал я от вас этого, Владимир Алексеич... Нет, батенька, выкиньте скорее этот вздор из головы, послушайте искренно любящего вас старика... И с чего, наконец, вы окрысились на Бакланова? Что такого он вам сделал?

— Да как же, рассудите сами... Вы, «дедушка», можете быть беспристрастны, так как вам Вера Сергеевна не нравится... я хочу сказать, не нравится, как

женщина, и вы... вы... Одним словом, вы не смотрите на нее, как другие, с гадкими мыслями...

— Ну, положим, не смотрю. Уж куда мне, — вымолвил смущенно старый штурман.

— А скотина Бакланов... Обратите внимание, как подло он на нее глядит... Разве можно так оскорблять порядочную женщину и разве не следует проучить подобного нахала?

— Только-то и всего? И из-за этого вы собираетесь... в морду и сочинить дуэль!? Ну не сумасшедший ли вы человек! — с улыбкой проговорил «дедушка». — Приревновали, значит?

— Какое я имею право ревновать? Тут не ревность...

— Разве для ревнивых писан закон? За что же вы собираетесь извести Бакланова, как не из-за ревности?.. Обезумели вы совсем, Владимир Алексееч, вот что я вам скажу. Видно, втюрились в пассажирку совсем с сапогами? — ласково прибавил старый штурман.

— То-то и есть, с сапогами, «дедушка», — с виноватым видом проговорил мичман.

— Ну и... очень скверно... Впрочем, это ваше дело, но только зачем же истории заводить? Плавали мы себе смирно и дружно два года, никаких, слава богу, историй не было, и вдруг... на тебе! Нет, милый Владимир Алексееч, это не того... не ладно. Вы — человек добрый и не станете разводить ссор... И с чего вы взяли, что Бакланов уж так подло, как вы говорите, глядит на пассажирку? Просто любитесь, как и все другие... Всем лестно полюбоваться... А если даже и смотрит, как лисица на виноград, ну и бог с ним. Пусть. Только глаза просмотрит! — засмеялся «дедушка». — Не бойтесь, Вера Сергеевна умная, она понимает людей, знает, кто чего стоит, и все видит, хотя и не все говорит, потому что нельзя же... дама-с... И выходит, что ревнуете вы впустую. Так-то. Успокойтесь-ка да отоспитесь хорошенько, а то совсем вы, бедняга, осунулись...

Эти слова добряка Ивана Иваныча несколько успокоили влюбленного мичмана и устыдили его. Он

дал слово оставить пока Бакланова в покое и не за-
тывать ссор.

— Так он, по-вашему, не нравится Вере Сергеев-
не? — допрашивал мичман.

— Нисколько, — утешал старик.

— Однако... вчера, когда он пел...

— И пусть себе поет...

Старый штурман допил стакан и вдруг спросил:

— И, скажите на милость, что за надобность так
влюбляться вам, батенька, а? На какого рожна?

Цветков невольно улыбнулся при этих словах и
не знал, что ответить.

— Вернемся в Россию, тогда валяйте себе на
здоровье, а в море — не резон, только одно расстрой-
ство... Что хорошего? Вы вот совсем какой-то шальный
стали. К чему эта канитель? Не обалдели же вы до
того, чтобы бацнуть предложение: «Так, мол, и так»...
Вера Сергеевна, положим, дама достойная, но старше
вас, да и вам еще рано жениться...

— Что, «дедушка», года... Не в этом дело...

— А в чем же?

— Она не пойдет за меня! — грустно вымолвил
Цветков.

— А вы уж готовы руку и сердце? — с досадой
спросил Иван Иванович.

— Я жизнь отдам за нее, «дедушка!» — восторжен-
но прошептал мичман.

— И довольно глупо. Очень даже глупо-с. Жизнь
вперед пригодится, а не то, что отдавать ее из-за ба-
бы... Не раскисайте, Владимир Алексеевич, будьте мо-
лодцом... Ну ее, пассажирку... Встретите целую уйму
других и снова влюбитесь...

— Нет, шабаш! Такой другой не встречу!

И лицо Цветкова, и тон его голоса дышали такой
грустью, что старый штурман озабоченно взглянул на
молодого человека и сердито проворчал:

— Вы, никак, того... всерьез?.. Эх, говорил я, что
не след брать бабу на судно! Вот один и свихнулся.
Того и гляди, какую-нибудь штуку выкинет...

— И выкину, — загадочно протянул мичман.

— И... срам-с... Возьмите все рифы, а то врежетесь

со всего ходу на мель... Экий вы отчаянный... Какую же вы собираетесь штуку выкинуть... Уж не бежать ли за пассажиркой в Россию... Под суд угодно попасть, что ли?..

Интимный разговор оборвался. В кают-компанию, один за другим, стали входить офицеры, напрасно поджидавшие пассажирку на палубе. После завтрака она не выходила наверх. Как кажется, нескончаемая любовь моряков начинает немножко утомлять вдовушку.

VII

Прелестны были дни, но едва ли не лучше были эти быстро, почти без сумерок, опускавшиеся над клипером ласковые южные ночи с мириадами звезд, ярко мигающих с высокого темного купола. Нежной прохладой дышат эти чудные ночи, навевая невольные грезы и наполняя душу безотчетным восторгом.

Двенадцатый час на исходе. Жизнь на клипере затихла. Команда и большая часть офицеров спит. Вахтенные матросы полудремлиют у своих снастей или чуть слышно, словно бы боясь нарушить тишину этой волшебной ночи, «лясничают», вспоминая, по большей части, про «свои места» на далекой родине. Тихо кругом. Оксан едва ворчит, словно в дремоте, да легонько поскрипывает, покачиваясь, клипер и летит во мраке, рассыпая вокруг алмазные брызги фосфорической воды.

Пробило восемь склянок, и Цветков торопливо взбежал на мостик, вступая на вахту с полуночи до четырех часов. Он сменял «милорда». Бывшие приятели при сдаче вахты не обменялись, как бывало прежде, ни словом, ни шуткой. Цветков ревновал и к «милорду», а «милорд», в свою очередь, злился, что пассажирка, повидимому, оживленнее и охотнее болтает с Цветковым, чем с ним, оставаясь совершенно равнодушной и к его английской складке, и к его разочарованному виду, и недостаточно оценивая его острооты и цитаты из Байрона. Он ли ни старался, забыв даже позорно свою невесту, понравиться хорошенькой пасса-

жирке? Он ломал голову, придумывая что-нибудь поумнее, вычитывал из книг разные словечки, в надежде произвести эффект и показаться оригинальным, напускал на себя демонизм, еще отчаяннее корчил англичанина и... ноль внимания. Молодая женщина, словно нарочно, не замечала его оригинальности, раздражая адское самолюбие «милорда» до последней степени.

Цветков обошел клипер, проверил часовых и зашагал по мостику взволнованный и с таким отважным видом, будто бы он принял какое-нибудь важное решение. Он то и дело бросал тревожные взгляды через освещенный люк капитанской каюты. Пассажирка еще не спала. Склонившись над книгой, сидела она за большим столом, и влюбленный мичман мог только видеть ее густую золотистую косу. Выйдет ли она, перед отходом ко сну, подышать этой дивной ночью? Этот вопрос казался мичману самым важным вопросом в полуденной. О, если бы она только вышла! Он готов был бы сидеть целый год без папирос и не съезжать на берег. «Выйди, выйди!» — беззвучно шептали его губы, и он обещал себе самому, в случае ее выхода, дать Егорке пять долларов. Если она появится наверху, он поговорит с ней наедине, без помехи. Она должна, наконец, узнать, как беспредельна и свята его любовь. До сих пор он тщательно скрывал свои чувства (так ему казалось, хотя его обожание к пассажирке было жирным шрифтом напечатано на его лице) и не осмеливался намекнуть о них. Только раз, дня два тому назад, он не удержался от искушения прочитать ей свое стихотворение, и то сказал, что оно написано год тому назад. Молодая женщина внимательно выслушала и похвалила, не догадываясь, конечно, кто этот «ангел», наделенный всеми физическими и душевными совершенствами. Однако попросила на память этот листок и привела этим мичмана в счастливое состояние. Теперь он скрывать своих чувств более не может. Он весь переполнен ими, как цилиндр паром, и должен объясниться, сказать ей... Что сказать, — он и сам в эту минуту не знал. Он только всем своим существом чувствовал и безграничную прелесть этой чудной но-

чи, и красоту мерцающих звезд, и жгучую истому о каком-то нечеловеческом блаженстве, и неудержимую потребность излить здесь, среди океана, при звездах, свою чистую любовь и готовность немедленно броситься в морскую пучину, если она скажет своим чудным грудным голосом: «Бросьтесь!» Только не проснулся бы этот «пузатый черт» капитан и не подстерег бы его разговаривающим на вахте с пассажиркой.

Он взглянул в рубку. Темно. Верно, спит старая бестия, отравляющая своими любезностями жизнь пассажирки. Тоже, сороковая бочка, лебезит на старости лет, зафрантил. Думает, что его разговоры очень интересны, и всегда, как нарочно, лезет, как только увидит, что он разговаривает с Верой Сергеевной. Так бы и треснул его!

«Да... это первая его настоящая любовь, а все прежнее — мимолетные увлечения, — размышляет молодой мичман, шагая по мостику. — И какая же, однако, я был свинья!» — шепчет он, когда в его легкомысленной голове одно за другим проносятся эти бесчисленные «увлечения», как бы для того, чтобы оттенить чистоту, силу и прочность настоящей любви.

Кузина Нюта... Влюблен был месяц. Думал стреляться, но кончил тем, что был шафером у нее на свадьбе. И что хорошего нашел он тогда в этой девчонке? Теперь он решительно не понимает... Тридцатилетняя супруга кронштадтского чиновника Софрончикова. «Фу, гадость!» — неблагодарно отплюнулся мичман, не без стыда вспоминая, как он сжимал в объятиях рыхлую, дебелую, с подведенными глазами г-жу Софрончикову, которая при каждом свидании стыдливо вскрикивала: «Ах, что я делаю!» и томно требовала клятв в вечной любви. А он не только давал их с небрежной расточительностью, но еще и поднес ей очень трогательные стихи, в которых сравнивал г-жу Софрончикову с «пышной розой», тогда как по совести ее следовало бы сравнить с откормленной индюшкой. Ровно два месяца клялся он в любви «пышной розе», пока не поехал в день получения жалования, т. е. 20-го числа, в Петербург и не встретил

на Гороховой черноглазой брюнетки с картонкой в руках, швеи из магазина, Кати... Эта была, напротив, «дидлия», бледная и худенькая, и если бы не случайная и довольно щекотливая встреча у Кати с каким-то румяным писарьком, то... кто знает, сколько времени он относил бы Кате жалование и деньги, занятые под «небольшие проценты»... Писарь «открыл ему глаза» и заставил его в тот же день идти обедать к адмиралу Налимову, у которого была молодая и довольно пригожая жена с румяными щечками, мятежно вздымавшейся грудью и беспокойными серыми глазами, точно отыскивающими что-то. Глаза эти ласково смотрели на молодого кудрявого мичмана, особенно ласково, когда старик-адмирал пошел после обеда вздремнуть, и дня через три легкомысленный мичман уже был «готов». Опять стихи, на этот раз: «Постыла жизнь без пылкой страсти», и внезапное негодование против добряка-адмирала, влюбленного в свою жену, который, вдруг оказалось, «губил чужую молодость». Через месяц совместного чтения и целования пухлой ручки (на дальнейшую «подлость» он не решался из уважения к адмиралу) великодушное предложение развестись с адмиралом и выйти за него. Вечная любовь и сорок три рубля с полтиной в месяц жалования к ее услугам. Не угодно ли?

Как ни беспокойно бегали глазки адмиральши и как ни нравился ей этот красивый, жизнерадостный мичман, тем не менее она выпучила на него глаза, как на человека, только что вырвавшегося из сумасшедшего дома и не понимающего возможности не только целования рук, но и дальнейшего счастья, без катастроф и потрясения основ. Обидный, насмешливый хохот был единственным красноречивым ответом на «дерзкие слова». Результатом отказа адмиральши осуществить столь остроумный план разжалования ее в мичманши было, полное гражданских чувств, стихотворение по адресу молодой адмиральши, закончившее почти ежедневные, в течение трех месяцев, посещения Налимовых, у которых он, несмотря на любовь, за обе щеки уплетал вкусные

адмиральские обеды. А там пришло назначение в дальнее плавание и отпуск перед ним в деревню.

«Мисс Дженни» в Лондоне... Это было что-то уж совсем дикое, начавшееся знакомством в «Holdogn Casino» и едва не кончившееся очень плохо... Он чуть было не застрял в Лондоне, поселясь с Дженни и просаживая на нее вторую и последнюю тысячу — весь бабушкин подарок на дорогу. Две целые недели пропадал он в Лондоне, не думая возвращаться на клипер, стоявший в Гревзенде, и если б не товарищи, каким-то чудом разыскавшие его в громадном городе и уговорившие ехать на клипер вместо того, чтоб попасть под суд за самовольную отлучку и лишиться плавания, быть бы бычку на веревочке. Но она была так чертовски хороша, эта Дженни с голубыми глазами, и так уверяла его в своей безграничной любви, получая от него банкноты, что он в те дни не прочь был навсегда остаться в Англии, хотя бы чистильщиком сапог.

В беспутной голове каявшегося мичмана промелькнули затем: и продавщица перчаток в Шербурге, и барышня из бар-рума в Капштате, на мысе Доброй Надежды, и японка Танасари в Хакодате, и креолка, жена испанского доктора, в Маниле, и роскошная каначка в Голюлулу, и, наконец, маленькая русская заседательша на Камчатке, которым он на разных языках говорил комплименты и если не всегда доходил до объяснения, то только потому, что клипер уходил из порта, где влюбчивый мичман воспламенялся, как порох.

«Все это была ерунда... все это свинство!» — еще раз повторил мичман, бросая умиленный взгляд через капитанский люк. Только теперь он понял любовь и чувствует, что значит полюбить на веки-вечные... Ему ничего не надо, он не мечтает даже о счастье благоговейно поцеловать эту маленькую изящную ручку. Пусть только она позволит ему сказать, как он предан ей, вот и все, чего он хочет... Пусть только позволит себя любить, и он, по возвращении в Россию, непременно поселится в том городе, где будет

жить Вера Сергеевна. Господи, что это за женщина! Сравнить ее с кем-нибудь из прежних увлечений — одна профанация...

VIII

— Вперед смотреть! — крикнул он вполголоса, вглядываясь в окружающую темноту и вспоминая, что он на вахте.

— Есть, смотрим! — раздался обычный ответ часовых с бака.

Раздался один удар колокола. Прошла склянка (полчаса).

«Она не выйдет», — с грустью подумал мичман, посматривая на выход из капитанской каюты, и вдруг замер...

Маленькая грациозная фигурка пассажирки, словно волшебная тень, показалась на палубе и поднялась на мостик.

В первую секунду мичман оцепенел от восторга и без движения стоял у компаса. Все мысли разом выскочили у него из головы.

А она приблизилась к нему совсем близко, так что свет от компаса освещал ее хорошенькое личико, и спросила своим бархатным голоском:

— Я не помешаю вам, Владимир Алексеевич, если несколько минут постою на мостике? Капитан ведь спит? — лукаво прибавила она.

Она помешает!? Может же прийти такая нелепая мысль в голову?

И вместо ответа мичман глядел на нее, как очарованный.

— Вы... помешать? — наконец прошептал он.

Должно быть, в этих двух словах было вложено слишком много экспрессии, потому что пассажирка с некоторой тревогой взглянула на молодого мичмана и, отходя на конец мостика, проговорила:

— Здесь так хорошо... И что за славная ночь!

Она любовалась этой ночью, глядела на звездное небо, на воду и молчала.

Молчал и мичман, не спуская глаз с пассажирки. Так прошло несколько минут...

— Спокойной вахты, Владимир Алексеевич! — вдруг проговорила пассажирка, делая движение, чтоб уходить.

— Как, вы уже уходите?.. Нет, ради бога... еще несколько минут... Я должен вам кое-что сказать, — испуганным и взволнованным шепотом проговорил он, подойдя к краю мостика, где стояла пассажирка.

— Что такое? — спросила она нарочно беззаботно-веселым голосом, словно не догадываясь, что может сказать этот влюбленный мичман, и имея доброе намерение этим тоном несколько отрезвить его пыл. Что Цветков влюблен в нее, она заметила, конечно, раньше всех, но его обожание было такое чистое и непритязательное, и сам он был такой милый, добрый юноша, что пассажирка невольно и сама расположилась к нему и держала себя с ним с дружеской простотой, не придавая его увлечению серьезного значения.

— Простите, Вера Сергеевна... — я, конечно, не смею спрашивать...

— И все-таки хотите спросить? — смеясь, перебила пассажирка. — Ну, спрашивайте. Заранее прощаю.

— Вам... вам нравится Бакланов? — выговорил он не без трагической нотки в дрогнувшем голосе.

Пассажирка усмехнулась. Ужасно смешные эти господа моряки! Не далее как на днях такой же вопрос относительно Цветкова предложил ей Бакланов, а еще раньше и капитан, как будто шутя, допрашивал: кто из офицеров ей более всего нравится, и был, повидимому, очень доволен, когда она дипломатически ответила, что «все вообще и никто в особенности».

Но она не удержалась от кокетливого желания подразнить своего поклонника и имела неосторожность, в свою очередь, спросить, засмеявшись тихим смехом.

— А вам зачем это знать?

Зачем ему знать? Ему!?

И мичмана, что называется, прорвало. Откуда только брались эти горячие и искренние, порывистые

и нежные слова любви, которые он благоговейно кидал к ногам божества, не осмеливаясь, разумеется, даже и мечтать о каком-нибудь вознаграждении. Только бы Вера Сергеевна не сердилась за дерзость его, недостойного мичмана Цветкова, полюбить такую «святую» женщину и милостиво бы разрешила ему любить ее до конца своих дней. Бескорыстие влюбленного мичмана было воистину феноменальное.

Надо думать, что и эта дивная теплая ночь, и тихо рокотавший океан, и яркие звезды, меланхолически мигавшие сверху, и, наконец, ревность к Бакланову значительно способствовали красноречию вдохновенной импровизации. Так, казалось и ему самому, он никогда в жизни не говорил. И если в эту минуту он не мог сравнить своего признания с признаниями г-же Софрончиковой и другим, то потому только, что он их совершенно забыл.

«Мраморная вдова», слышавшая-таки, особенно после смерти мужа, лаконически деловые признания янки и умевшая различать звуки страсти, несмотря на свое относительное хладнокровие и свято чтимую память о муже, невольно поддавалась обаянию этой безумно-страстной песни любви среди океана, на узком мостике покачивающегося клипера. И эта песнь вместе с теплым дуновением ночи словно ласкала ее, проникая к самому сердцу и напоминая, что она еще молода и что жить хочется...

— Послушайте... я рассержусь, если вы еще раз будете говорить такие глупости, — строго проговорила она, хотя совсем не сердилась. — Вы немножко увлеклись и вообразили уж бог знает что... Скоро мы расстанемся, и вы так же скоро забудете про свою блажь... Так лучше останемся добрыми приятелями... Вы ведь знаете, что я к вам расположена...

— Так вы не верите, что я вас люблю? Не верите?... Хотите, я сейчас докажу?

Какая-то нахлынувшая волна чувств вдруг захлестнула его, наполнила душу отчаянной отвагой. Жизнь в эту минуту, казалось, не имела ни малейшей цены. И он, весь охваченный сумасшедшим желанием доказать свою любовь, занес ногу за поручни.

— Повторите еще раз, что не верите, и я буду в море!..

Голос Цветкова звучал восторженной решимостью фанатика.

И он и пассажирка — оба в одно и то же мгновение почувствовали, что, повтори она слова сомнения, он без колебания бросится в океан.

— Верю, верю! — прошептала она, охваченная ужасом.

И, схватывая его руку, ласково и нежно, взволнованным голосом прибавила:

— Боже! Какой вы сумасшедший!

Она невольно восхищалась этой безумной, чисто славянской выходкой, испытывая в то же время эгоистически приятное чувство женщины, из-за которой человек готов совершить невозможную глупость. А легкомысленный сумасброд, счастливый, что теперь не может быть сомнения в его любви, задержал на мгновение похолодевшую ручку пассажирки в своей руке и быстро поцеловал ее в темноте.

И опять спросил:

— Ответьте же, Вера Сергеевна. Нравится вам Бакланов?

— С чего вы это взяли? Нет.

— И «милорд» не нравится?

— Вот пошли...

— Значит, никто!? — радостно воскликнул мичман.

— Никто особенно, но вы — больше других, недаром мы с вами приятели. И останемся, если вы не станете больше делать глупостей... Я очень тронута вашей привязанностью и ценю ее, но, кроме дружбы, ничем не могу отплатить вам. Простите, милый Владимир Алексеевич, и не сердитесь... Постарайтесь забыть меня... И что бы могла я дать вам, — с оттенком грусти прибавила «мраморная вдова». — Во мне уже нет свежести чувства... Мне тридцать лет, а вы... вы совсем юный.

Сердиться на нее? Да он бесконечно счастлив ее дружбой, и больше ему ничего не надо. Разве он не понимает, что она полюбить не может... Но он надеется, что она, по крайней мере, не порвет с ним знаком-

ства и позволит ему писать ей и, быть может, напишет ему сама... А чтобы забыть ее...

Он только усмехнулся.

— Очень рада буду получить от вас весточку и отвечу вам... А пока, чтобы все было по-старому, не правда ли? Вы больше не будете говорить мне о вашей... привязанности... Обещаете?

— Вам так это... неприятно? — спросил он.

— Не все ли вам равно, почему я вас прошу об этом... Так обещаете? — шепнула «мраморная вдова», и — показалось Цветкову — в голосе ее опять звучала грустная нотка.

Он обещал, и пассажирка ушла, позволив ему еще раз поцеловать свою руку.

Оставшись один, Цветков полной грудью крикнул:

— Вперед смотреть!

И этим радостным криком он, казалось, возвещал океану о своем счастье.

Свет погас в капитанской каюте, а пассажирка долго еще не спала. Эта песнь любви все еще звучала в ее ушах, и образ кудрявого мичмана несколько времени стоял перед ее глазами.

«Какие влюбчивые, однако, эти моряки!» — шепнула она и засмеялась.

IX

Прошла еще неделя. Погода попрежнему стояла великолепная, но пассажирка стала реже показываться наверху, особенно после заката солнца, когда наступили роскошные южные ночи, располагающие к излипаниям. Она также, видимо, избегала разговоров наедине. Исключение составлял «дедушка» Иван Иванович.

Для молодой женщины не было, разумеется, секретом, что почти все офицеры равнодушны к ней и готовы перессориться из-за малейшего предпочтения, в виде улыбки или ласкового слова, сказанного ею кому-нибудь из ее ревнивых поклонников. Приходилось всегда быть настороже, испытывая первый раз в жизни неудобство положения хорошенькой женщины,

и притом одной, среди этих «добрых» влюбчивых моряков, которые уж чересчур удостаивали ее своим любезным вниманием и ни на минуту не оставляли без своего общества, лишь только она появлялась на палубе. Каждый старался чем-нибудь услужить ей. Каждый встречал ее восторженным комплиментом или красноречивым взглядом.

«И как скоро воспламеняются моряки и как быстро делают признания!» — удивлялась пассажирка, убедившись в этом не на одном только примере сумасшедшего мичмана.

Через два дня после его страстной песни любви, совсем неожиданно, и тоже во время ночной вахты, признался ей в своих чувствах и лейтенант Бакланов. Говорил он, правда, не столь пылко и красноречиво, как Цветков, и для доказательства своей любви не предлагал бултыхнуться в океан, но зато со стремительной откровенностью предложил хорошенькой вдове руку и сердце. Не дождавшись еще принципиального согласия, он диктовал следующие условия: свадьба немедленно после возвращения клипера в Россию, а теперь они будут женихом и невестой (соблазнительная роль жениха, кажется, особенно привлекала лейтенанта и едва ли не была главным мотивом предложения). У него есть состояние, правда, небольшое, но жить можно, не нуждаясь. Он будет любящим и преданным мужем. Полюбил он ее с первой же встречи и так горячо никогда и никого не любил.

— Судьба моя в ваших руках! — не без эффекта закончил лейтенант трагическим шепотом.

Все свое признание он произнес необыкновенно быстро, очевидно, боясь, что кто-нибудь помешает интимной беседе на самом интересном месте, и тогда жди случая, чтобы закончить начатое с такой отвагой. И то уж Цветков раз прошмыгнул мимо них.

В ожидании ответа Бакланов глядел на пассажирку таким восхищенно-жадным взглядом своих голубых, несколько наглых, глаз, точно собирался тотчас же съесть ее, лишь только она благосклонно примет его предложение.

Благодаря темноте вечера пассажирка не видела

этого взгляда. Не видал и Бакланов насмешливой улыбки в ее глазах и только услышал ее спокойно-иронический ответ:

— Совсем по-американски. Я не думала, что моряки так торопливо решают и свою и чужую судьбу.

Она поблагодарила за честь, ничем ею не вызванную, прибавив, что, к сожалению, не может разделить его, столь неожиданно проявившегося чувства и вообще не собирается пока выходить замуж.

Этот ответ, звучавший насмешливым тоном, вызвал самолюбивое раздражение кронштадтского сердцеда, избалованного успехами, и, главным образом, против Цветкова, которого Бакланов считал своим счастливым соперником. Недаром эти последние дни он необыкновенно весел и ходит гоголем!

Повидимому, Бакланов безропотно покорился отказу мраморной вдовы. Он извинился за смелость признания, вызванного его безумной любовью. Разумеется, он более не осмелится надосаждать ей и просил похоронить этот разговор. Пусть о нем ни душа не знает...

— О, будьте на этот счет спокойны! — прервала его молодая женщина.

— А я останусь с разбитым сердцем надолго... Надолго, Вера Сергеевна, — грустно прибавил он.

— Надеюсь, не более недели?

— Вы смеетесь?.. Что ж, смейтесь!.. Но, поверьте, я не похож на других, которые влюбляются в каждом порте, — пустил он намек по адресу товарища и, низко поклонившись, отошел от пассажирки и поднялся на мостик.

Молодая женщина поспешила спуститься к себе, боясь новых излияний с чьей-нибудь стороны, и спугнула капитанского вестового Чижикова, который стоял у раскрытой двери Аннушкиной каюты и вполголоса рассказывал своей внимательной слушательнице о том, какие бывают бури, а сам, улыбаясь глазами, поглядывал на румяную, пышную Аннушку, занятую шитьем, и взором, полным ласки, говорил, казалось, совсем о другом.

— Так больше ничего не потребуется? — спросил

он Аннушку, пропуская пассажирку... — Спокойной ночи, барыня! — поклонился он.

— Прощайте, — промолвила молодая женщина, невольно улыбнувшись этой маленькой хитрости вестового.

«И тут влюбленная атмосфера», — подумала она.

Х

Чижигов находился уже с Аннушкой на короткой приятельской ноге, словно они давным-давно были знакомы. Это сближение произошло как-то само собой, незаметно. Он помогал и услуживал Аннушке, охотно и весело исполняя ее обязанности: чистил и барынины, и ее ботинки, вытряхивал рано утром платья, стирал их белье. «Уж вы не беспокойтесь, Анна Егоровна, — говорил он: — все справим, как следует. По матросскому нашему положению мы все должны справлять». И, ловкий и расторопный, Чижигов действительно все справлял не хуже заправской горничной. Он шить умел, и знал, как выводить пятна, и башмаки починил Аннушке, словом был парень на все руки, и все у него в руках спорилось и выходило хорошо. При этом он был всегда весел и никогда не жаловался на работу, хотя работы у него были полны руки. Урывая свободную минуту, он перекидывался из буфетной с Аннушкой словом и по вечерам «лясничал» с ней, но не говорил никаких нежностей, а только улыбался глазами и как-то без слов любви, не торопясь и спокойно, вкрадывался в ее душу, «облещивал» с тонким искусством заправского знатока женского сердца, и через неделю после знакомства, несмотря на «мамзелистость» Аннушки, уже позволил себе с нею флирт. То, будто шутя, ущипнет ее повыше локтя и спросит: «больно?», то схватит ее руку и, скрестив пальцы с пальцами, предложит попробовать силу, то близко подсядет к Аннушке и, словно невзначай, поцелует в розоватый затылок. А сам, с серьезно-невинным видом, точно чмокал не он, продолжает рассказывать о матросском житье-бытье или про свою сторону, и только ласково улыбается глазами, устав-

ленными на Аннушку. И она, отвергшая немало ухаживаний господ офицеров, как-то покорно и весело отдавалась флирту, как будто не замечая ни шуточных трепков, ни щипков, ни поцелуев молодого, пригожего черноглазого матроса, который казался ей куда милее и понятнее американских ухаживателей. Она только после поцелуев становилась румянее, ее добрые серые большие глаза ярче блестели, и лицо делалось серьезнее, точно она вся поглощена была тем, что рассказывал ей Чижиков. С тем же невинным видом Чижиков увеличивал мало-помалу область флирта и, не делая никаких деклараций, продолжал эту «песню без слов», попрежнему услуживая и помогая Аннушке с ретивым усердием беспритязательного человека. Он не переступал известных границ постепенности, чтобы не особенно компрометировать Аннушку в ее собственных глазах, так что флирт этот мог казаться невинной шалостью. Раз только Чижиков слишком увлекся и, внезапно прервав разговор о починке барыниных ботинок, облапил Аннушку и впился в ее губы, имея, повидимому, серьезное намерение целовать без конца (недаром он незаметно защелкнул в каюте задвижку). Аннушка в первое мгновение поддалась этой ласке, но вслед затем сурово оттолкнула дерзкого и, вспыхнув, съездила его по уху.

Но Чижиков и тут не потерялся и даже не стал просить прощения. Вмиг очутившись по ту сторону двери, он, как ни в чем не бывало, спросил, продолжая прерванный разговор:

— Так какое будет ваше приказание насчет барыниных ботинок, Анна Егоровна? Прикажете починить?

Первую минуту Аннушка молчала и казалась очень сердитой.

— Что ж, почини, — наконец промолвила она строгим тоном, не глядя на Чижикова и оправляя сбившиеся волосы.

Однако любезыство заставило ее бросить взгляд на вестового, и невольная улыбка скользнула по ее заалевшему лицу при виде этой невинно-серьезной физиономии, точно ни в чем не повинной.

— Так пожалуйста, Анна Егоровна. Ужо завтра

принесу, — проговорил деловым тоном Чижииков. — Пуговки у вас есть?

— И лукавый же ты парень, Ванюшка! — протянула нараспев Аннушка, говоря ему давно уже попросто на «ты» и, отдавая ботинки, усмехнулась.

Сохраняя на своем лице все тот же степенно-невинный вид, Чижииков опять только ласково улыбнулся глазами и, пожелав спокойной ночи, ушел, чувствуя, что Аннушка его простила.

В жилой палубе, где в подвешенных койках уже спали подвахтенные матросы (спать наверху не позволяли, вследствие присутствия на клипере пассажирки), встретил его Егорка, собиравшийся было ложиться, и любопытно спросил:

— Ну, что, братец, как с ей. Забираешь ходу?

— Как есть, здра. Давно бросил! — отвечал Чижииков.

— Ну?

— Горда больно пассажиркина мамзель. От матроса морду воротит...

— Ишь ты, а я, брат, думал...

— То-то, пустое, — перебил Чижииков, который, как истый джентльмен, хранил в абсолютной тайне свои успехи даже от друга и земляка Егорки.

— Однако дело есть! — прибавил он и, сходя в свой сундучок за инструментом, приладилсся у фонаря, чтобы принятьсь за работу.

— Ты это что же? Слава богу, намотался за день, пора бы и спать. К спеху, что ли? — допрашивал Егорка, разглядывая крошечные дамские ботинки. — Нам разве на палец надеть! — усмехнулся он.

— Обещал. Сама пассажирка просила, — сочинил Чижииков.

— Да у ей башмаков много.

— Эти самые лобит. Хорошо пришьлись, говорит.

— Небось, заплатит?

— А то как же? Наверно, наградит, как в Гонконг придем. Намедни вот не в зачет долларь дала, — опять соврал Чижииков, чтобы не выдать тайны, для кого это он так старается.

— А мой мичман, Володя-то наш, вчерась мне пять

долларей отвалил, — радостно сообщил Егорка и, полураздетый, в одной рубашке, присел на корточках около Чижикова.

— За что?

— Поди ж... Я и сам подивился... И так добер — завсегда награждает, а тут... Встал это он, братец ты мой, после ночной вахты такой веселый... смеется... и велел, значит, достать из «шинерки»¹ деньги... А у его и всего-то двадцать долларей капиталу... Подаю. Отсчитал пять долларей. «Получай, — говорит, — Егорка, а достальные назад положи!»

— Щедровит, — промолвил Чижиков и прибавил: — И льстится же он на пассажирку, я тебе скажу, Егорка. Ах, как льстится!.. Намедни пришел: тары, бары, по-французскому... лямур, — это и я разобрал, — а потом вынул из кармана стишок и давай ей читать... складно так выходило, Егорка. «Ваши, говорит, очи не дают спать ночи». «Вы, говорит, что андел распрекрасны, щеки, говорит, что розы, а ручки у вас атласны». Все, братец ты мой, перебрал по порядку: и насчет ног, и насчет носа, и насчет ейных волос... И так, шельма, складно. «Я, говорит, из-за вас ума решусь и беспрременно утоплюсь»... Это он пужал, значит.

— Ишь ты! И выдумает же! — восхитился Егорка. — Что ж пассажирка?

— Усмехнулась и стишок на память взяла... Только вряд у их что-нибудь выйдет, — авторитетно заметил Чижиков.

— Небойсь, мой мичман ловок! — заступился за своего барина Егорка.

— Отважности нет... Только языком болтает... Этим вскорости не облестишь.

— Нельзя, брат, генеральская дочь...

— Генеральская, не генеральская, а все живой человек. Только она, должно быть, какая-то порченая! — неожиданно прибавил Чижиков.

— Порченая?

— Да как же, Егорка. Женщина молодая, сочная,

¹ Шифоньерка.

всем взяла, а три года вдовеет и, — сказывала Аннушка, — в Америке женихи были, а не шла. И опять же здесь: все на нее льстятся, а она ровно статуя бесчувственный. Видно, в ей кровь не играет. Есть, братец, такие. Не любят мужчин...

— Может, только виду не хочет оказать и себя соблюдает, а ежели, братец ты мой, честь-честью, замуж — очень даже будет согласна... Видит — здесь ей мужа не найти, потому как в плавании все, да и господа не из богатых, ну и... форсит.

— Разве что... Но ты, коли баба, хоть хвостом поверти...

— Не вертит? — рассмеялся Егорка.

— То-то и есть. И глаз у ей рыбий... Поверь, Егорка, испортили барыню в Америке этой самой.

— А кто ее знает?.. У господ другое положение. Они там с мичманом моим по-французскому говорят, может, и договорятся... Он тоже ловок насчет этого... И стишок умеет, и из себя молодец, и башковат... Вот в Гонконг придем, окажется... Однако я спать пошел!

И Егорка, поднявшись с корточек, направился к своей койке.

XI

— Как следует, нос. Форменный нос! — несколько раз повторил про себя Бакланов, нервно шагая с одного края мостика на другой. Самолюбие его было уязвлено, и в нем закипала злость и на себя за то, что он так «опрохвостился», и на пассажирку за то, что она с насмешливой шуткой отнеслась к его предложению и даже не сказала обычных в таком случае слов о дружбе, и на Цветкова за то, что этот «смазливый болван» много о себе воображает.

«Мальчишка!» — со злобой подумал Бакланов, стараясь отыскать в «мальчишке» самые дурные стороны. Он и легкомыслен, и беспутен, и вообще пустельга, и в денежных делах неаккуратен. По уши в долгах. «До сих пор двадцати долларов не отдает», — припомнил Бакланов, решившись завтра же их потребовать с него. «Не особенно проницательна и она.

если верит такому мальчишке!.. Не в мужа же она его прочит, кокетничая с ним... Нечего сказать, основательный был бы муж... Одна потеха!.. А если этот «мерзавец» и вдруг имеет успех?..»

При этой мысли у Бакланова явилось такое сильное желание перервать «мерзавцу» горло, что он, сжавшись, стиснул руками поручни, словно вместо поручней было несчастное горло мичмана...

— Пос-мот-рим! — прошептал он и вдруг грозно крикнул на дремавшего сигнальщика: — Ты что дрыхнешь, каналья, а?..

А чудная ночь, словно нарочно, дразнит своим нежным дыханием, волнуя воображение давно не бывшего на берегу моряка далеко не идеальными мечтаниями, в которых предпочтительную роль играла, разумеется, эта соблазнительная вдова в виде его невесты. То-то вышел бы эффект, и сколько было бы зависти в кают-компании, если бы он официально объявил себя женихом пассажирки! Он все свободное время проводил бы с нею наедине, у нее в каюте, чорт возьми, и, по праву, без конца целовал бы эти маленькие с ямками ручки, сливочную шейку, алые губки. Он бы...

Неожиданное появление на шканцах толстой фигуры капитана в белом кителе вернуло лейтенанта Бакланова к действительности. Он тревожно огляделся вокруг.

Тяжело переваливаясь и подсапывая носом, капитан поднялся на мостик, посмотрел в компас, зорко осмотрел горизонт и поднял голову, взглядывая на паруса.

— Лиселя полощат, а вы и не видите с! — резко выпалил капитан.

Действительно, к стыду Бакланова, лиселя с правой позорно «полоскали».

— Только сейчас ветер зашел.

— Убрать-с!.. И попрошу вас, г. лейтенант Бакланов, на вахте не заниматься болтовней с пассажиркой, — тихо, очевидно, сдерживаясь, но с тем же раздражением продолжал капитан. — Что у нас, военное судно, или гостиная-с? На вахте разве офицеры

разговаривают-с? Вы тут любезничали, а у вас лиселя шлепают-с... Могли бы и все паруса прошлепать. Прошу помнить-с, что вы вахтенный начальник, а не дамский кавалер-с!

Бакланов скомандовал убрать лиселя, а капитан стоял сердитый, взглядывая на освещенный люк каюты, в которой скрылась эта очаровательная вдовушка, лишившая и его, точно в штормовую погоду, сна и будившая в нем, на старости лет, мечты о второй молодости и страстное желание мгновенно похудеть.

Капитан постоял минут пять и скрылся в рубке. Раздевшись, он снова лег спать, но заснул не скоро. Черт знает что лезло в голову. И уборка лиселей не так его занимала, как прежде, и его Пашета, верная супруга и строгая дама, казалась ему теперь, при сравнении, такой некрасивой, сухопарой, белобрысой женщиной с своими жидкими косичками и такой злой с вечными сценами из-за смазливых горничных...

Со времени появления на клипере пассажирки капитан вдруг стал чаще философствовать насчет семейной жизни и критически оценивать характер и наружность жены, хотя и был примерным отцом и добрым мужем; вместе с тем он до унижения лебезил перед пассажиркой. Все его любезности обращались очень мило в шутку, и он, наконец, заметил, что пассажирка не особенно любит быть с ним tête-à-tête¹. Заметивши это, он, как истинно галантный рыцарь, перестал в последнее время заходить к ней и встречался только за обедом да наверху, умильно поглядывая на нее и срывая свою досаду на молодых офицерах, к которым ревновал с слепой яростью влюбленного пожилого человека, сознающего тщету надежд.

Как ни старался капитан скрыть перед подчиненными свое малодушное ухаживание за пассажиркой, все видели, что он втюрился. Недаром же он душился и ходит в новом сюртуке, и наверху остерегается ругать матросов и давать подчас волю рукам. Все понимали причину его «разносов» и посмеивались втихомолку над влюбленным «боровом», устраивая

¹ С глазу на глаз, наедине.

ему всяческие каверзы. Заметит вахтенный, что капитан спустился к пассажирке, как сейчас же шлет туда гардемарина доложить, что «судно на горизонте», или что «ветер заходит», или что «кит показался». Словом, молодежь выискивала всевозможные предлоги, чтобы помешать капитану любезничать с пассажиркой. А когда она бывала наверху, ее тотчас же окружали, и капитан, сердито пыхтя, одиноко ходил по шканцам, с досадой посматривая на молодежь и не смея подойти, чтоб не вызвать иронически-почтительных взглядов.

Капитан видел и чувствовал все эти каверзы и скрытые насмешки и, несмотря на свое добродушие, втайне бесновался. Особенно преследовал он Цветкова, и раз даже во время парусного учения пригрозил отдать его под суд...

Все это заметила под конец и пассажирка и прекратила с Цветковым чтения вдвоем, тем более, что при первом же чтении после признания он снова говорил о любви и хотя раньше и клялся, что ему, кроме святой дружбы, решительно ничего не надо, тем не менее так трогательно просил позволения «братски» поцеловать ее «святую» ручку и, получив разрешение, через минуту уж так умоляюще жалобно поглядывал на маленькие розовые пальчики, оправдывая поговорку: *l'appétit vient en mangeant*¹, — что «мраморная вдова», ограждая мичмана и от капитанской мести, и от малодушных волнений, благоразумно решила вместе не читать и наедине не оставаться.

Но что она могла сделать против хитрости влюбленного человека, который сторожил каждый ее шаг и, случалось, улавливал минуту-другую, когда она была на палубе одна, и тогда... каких только тогда не расточал он ей восторженных комплиментов, про что только знала она одна, так как сам мичман находился в телячьем экстазе и едва ли помнил, что говорил. И все эти комплименты были так наивно-почтительны и искренни, а сам мичман так благоговейно-восторжен, что молодая женщина не могла и,

¹ Аппетит приходит во время еды.

признаться, не хотела сердиться. Уж очень мил был этот жизнерадостный пригожий мичман, и так щеко-тали ее нервы эти речи.

«Да и опасно, — уверяла себя «мраморная вдова», — того и гляди, этот сумасшедший выкинет снова что-нибудь невозможное. Пусть уж лучше говорит!»

Она и не подозревала, что он в самом деле уж подумывал выкинуть такую штуку, которая огорошит всех и окончательно убедит ее, и тогда, быть может, заставит ее откликнуться на его любовь (уж он теперь втайне мечтал о взаимности).

Но пока эта «штука» была его тайной.

С каждым днем положение бедной пассажирки становилось затруднительнее, и, несмотря на удобства плавания, она не без нетерпения ждала его конца. Эта атмосфера любви вокруг нее все сгущалась и сгущалась, и грозила разразиться новыми излияниями и всеобщей ссорой моряков.

«Милорд» перестал цедить слова и однажды как-то очень значительно заговорил с пассажиркой о том, что жизнь, собственно говоря, глупая и пустая штука. Бедняга Васенька, до сих пор не решавшийся говорить с пассажиркой, совсем проглядел на нее глаза и пехудал. Доктор что-то усиленно стал проповедывать о разводе и заботливо расспрашивал о здоровье, предлагая свои услуги исследовать ее. Капитан, как гимназист, сторожил пассажирку, соперничая в этом с Цветковым; долговязый ревизор мрачно вздыхал, а Бакланов, согласно обещанию, ходил «с разбитым сердцем». При встречах с пассажиркой он или горько улыбался, или меланхолически расправлял свои роскошные длинные усы и пел в кают-компани, присаживаясь за пианино, самые меланхолические романсы. Пусть слышит! Но, разумеется, от всех скрывал свою неудачу и в разговорах о пассажирке выказывал пренебрежительное равнодушие. Однако почти не говорил с Цветковым и по временам бросал на него такие свирепые взоры, что старик Иван Иванович теперь боялся, как бы у Бакланова, в свою очередь, не было намерения «запалить в морду» мич-

ману, и нетерпеливо ждал конца этого «бабьего» плавания, благодаря которому на клипере пошел каварзак, и все очумели.

Один только старший офицер Степан Дмитриевич, не обнаруживая особенной резвости ни к кому, заливчато покручивал усы, с спокойной уверенностью человека, дело которого в шляпе. «Скоро все объяснится!» — не раз думал он и нередко гляделся у себя в каюте в зеркало, не без приятного чувства удовлетворения любуясь своей красной, угреватой физиономией, с длинным носом и маленькими воспаленными глазками, не без некоторого основания уподобленной Цветковым «медной кастрюльке». Но у Степана Дмитриевича было насчет своего лица особое мнение, и он полагал, что всякая умная женщина должна была находить его лицо привлекательным.

Он давно подпускал пассажирке какие-то отдаленные намеки насчет уз Гименея и своих надежд скоро быть капитаном, и молодая женщина со страхом ожидала с его стороны серьезного нападения.

Эти «добрые» моряки представлялись ей теперь несколько в ином свете. «Они, конечно, милые люди, но, верно, еще милее на сухом пути», — не раз говорила себе хорошенькая вдовушка, чувствуя на себе с каждым днем все более и более влюбленные взгляды и нередко такие красноречивые, что краска невольно заливала ее лицо, и она плотнее закрывала косынку свою белоснежную шею и пышную грудь и, несмотря на жару, показывалась не иначе, как в высоких платьях с длинными рукавами.

И когда «дедушка», наконец, зашел к ней однажды и сообщил, что через неделю, если, бог даст, все будет благополучно, клипер придет в Гонконг, она выразила большую радость.

— Обрадовались, Вера Сергеевна? — усмехнулся хитро «дедушка». — Уж вы не сердитесь, а откровенно признаюсь, что и я порадоюсь, несмотря на все мое к вам уважение, когда вы покинете клипер.

— Вы-то отчего, Иван Иванович? — спросила, улыбаясь, пассажирка.

— Разве не видите, Вера Сергеевна? Небось, отлично видите, что теперь делается на клипере. Жили мы без вас, милая барыня, мирно и покойно, волновались только по службе, а теперь?.. Все друг на друга косятся... Все от вас без ума и совсем сделались вроде бесноватых...

— Да разве я виновата, Иван Иванович? Кажется, я никому не подавала повода... Я не знала, что моряки такие влюбчивые, — прибавила пассажирка.

— Вы ничуть не виноваты, если не считать виной, что господь бог создал вас такой хорошенькой. Простите, Вера Сергеевна, мне, старику, можно это сказать, — проговорил старый штурман отеческим тоном, избегая, однако, глядеть на ослепительно свежее лицо пассажирки.

— Я больше никогда не поеду на военном судне, — промолвила она.

— И не следует... Я никогда не брал бы пассажирок, особенно таких милых, как вы... А бедняга Цветков что-то опять загрустил. Как бы не натворил глупостей! Уж вы его образумьте, Вера Сергеевна. Вас он послушает.

— Каких глупостей? — спросила пассажирка, и в голосе ее дрогнула испуганная нотка.

А кто его знает. От этого сумасшедшего можно всего ожидать. Пожалуй, захочет бежать за вами, и тогда прощай его служба. Жаль будет. Малый очень славный, и сердце золотое, и офицер блестящий... Я его очень люблю... Одна беда, — улыбнулся «дедушка»: — как влюбится, так ему море по колено на первых порах. Совсем отчаянный становится... Уж вы урезоньте его... Уедете вы, и он придет в себя... Отходчивый!

— Отходчивый? — протянула пассажирка. — Ну, конечно, эта блажь скоро пройдет. Благодарю, что предупредили, милый «дедушка». Постараюсь убедить его не дурить...

— Только теперь ему ни полслова, а то непременно удерет за вами. Сумасброд на редкость, и упрям, как лошак.

Приглашать пассажирку обедать в это воскресенье в кают-компанию пошел, по обыкновению, старший офицер, но в этот раз всем невольно бросилась в глаза какая-то особая торжественность и в лице, и во всей плотной, небольшой и неказистой фигуре Степанá Дмитриевича. Он был по-праздничному, в виц-мундире, с Станиславом на шее и Анной в петлице, весь сияя, как хорошо отчищенная медная пушка. Лысина была тщательно зачесана, редкие волосы напояжены, усы подфабрены, и весь он благоухал, нисколько не пожалевши духов.

В таком великолепии явился он, после доклада Чижикова, перед пассажиркой и, после приветствия, пожав ей руку, сел в кресло и сказал:

— От лица всей кают-компания явился к вам, Вера Сергеевна, покорнейше просить сделать честь и пожаловать к нам сегодня откушать. Надеемся, вы осчастливите нас своим посещением, не правда ли? — прибавил Степан Дмитриевич и стал крутить усы, взглядывая на пассажирку с победоносным видом обаятельного мужчины.

Пассажирка любезно поблагодарила и обещала быть.

Обыкновенно после подобного приглашения Степан Дмитриевич, сказав два-три слова, удалялся, но на этот раз он плотнее уселся в кресло, выпятив грудь колесом, и после небольшой паузы проговорил:

— Увы! это последнее воскресенье, что мы видим вас на клипере, божественная Вера Сергеевна. Еще три дня, и клипер осиротеет, как только бросит якорь в Гонконге. Вам не жаль покидать нас? Никого не жаль?

— Напротив, всех жаль. Все так баловали меня своим вниманием.

«Лукавишь», весело подумал Степан Дмитриевич и продолжал, отставив чуть-чуть вбок свою коротенькую толстую ножку.

— Но вы ни о чем не догадывались? Вы не заметили, что с моей стороны было нечто большее, чем

простое внимание? — не без пафоса проговорил старший офицер, и его маленькие глазки еще более сузились и словно хотели совсем спрятаться от полноты чувств.

«Вот оно, начинается!» — со страхом подумала пассажирка и промолвила:

— Как же, я видала вашу доброту и заботливость и очень вам благодарна.

— Не совсем то, далеко не то, Вера Сергеевна... Не одна заботливость, не одна доброта, а чистосердечно скажу: более серьезное чувство... Казалось, что и вы показывали мне расположение, Вера Сергеевна... Не конфузьтесь, пожалуйста, — вставил Степан Дмитриевич, заметив, что пассажирка достала платок, чтобы скрыть едва удерживаемый смех: — я не мальчик, а человек солидный, мне 40 лет, и я пришел к вам с серьезными намерениями... с очень серьезными и основательно обдуманнами. Давно собирался я вкусить счастья семейной жизни, но до сих пор не встречал особы, которая... которая внушила бы мне глубокое чувство, пока не встретил под небом далекой Америки вас...

Степан Дмитриевич остановился, чтобы вытереть падушенным платком пот, обильно струившийся по его лицу, и с большим воодушевлением продолжал:

— Я — человек незлой, характер у меня ровный, и я буду любить и хранил вас, как дорогую жемчужину... Служёбное положение мое обеспечено, и у меня кое-что есть на черный день... Смею надеяться, что вы, после тяжелых испытаний, захотите тихой пристани и осчастливите одинокого человека, давши слово быть его другом и женой, — с чувством произнес старший офицер. — Через шесть месяцев мы вернемся в Россию. Ждать не долго. Надеюсь, и я вам нравлюсь, Вера Сергеевна? — закончил Степан Дмитриевич не без самоуверенной улыбки и ждал ответа.

Но пассажирка молчала, давно склонив голову, чтобы скрыть смеющееся лицо. Этот самоуверенный тон был так комичен!

Степан Дмитриевич, имевший несчастье считать себя неотразимым мужчиной, объяснял это молчание



К стр. 163

совсем иначе и, любуясь бюстом пассажирки замаскированными глазками, проговорил нежным, ласковым шепотом:

— Милая Вера Сергеевна!.. Не конфузьтесь! Поднимите головку... взгляните на меня... Ведь вы согласны, да?.. Не волнуйтесь, ради бога... Вы молчите?.. Ну, протяните вашу прелестную ручку в знак согласия...

Пассажирка подняла голову и, стараясь быть серьезной, чтобы не оскорбить Степана Дмитриевича, ответила, кусая губы:

— Благодарю за честь, но... я не собираюсь замуж.

Степан Дмитриевич опешил и наивно спросил:

— Значит, вы отказываете?

— Как видите...

— Но, может быть, это не решительно... Вы подумаете и...

— Нет, Степан Дмитриевич, решительно...

— В таком случае... извините... А я, признаться, надеялся... Что ж... Ошибся... Надеюсь, это между нами... Дай вам бог счастья, Вера Сергеевна.

И, шаркнув ножкой, как обучали его в корпусе, Степан Дмитриевич, скушавши на своем веку пятый отказ, с достоинством удалился, не столько обиженный, сколько изумленный.

«Я считал пассажирку гораздо умнее. Оказывается, совсем глупая бабенка!» — высокомерно подумал Степан Дмитриевич.

Однако он был красен, как рак, когда вошел в кают-компанию, и не имел прежнего торжественного вида.

Обед в кают-компании в это воскресенье прошел как-то натянуто. Все точно стеснялись чем-то и недружелюбно посматривали друг на друга. Взгляды прояснялись лишь только тогда, когда обращались на пассажирку. Она была в светлом высоком платье, по обыкновению любезная, приветливая и ослепительная. Капитан предпочтительно занимал ее, повторяя старые рассказы, и часто путался. Степан Дмитриевич, хотя и попрежнему победоносно покручивал усы, но казался несколько раздраженным. Бакланов си-